

ПРОТ. АЛЕКСАНДР ШМЕМАН

Воскресные
беседы

МОСКВА

**Протопресвитер
А. ШМЕАН**

ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ

Москва 1993 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Отец Александр Шмеман в течение долгих лет и до последнего месяца своей жизни еженедельно читал на Радио «Свобода» две серии проповедей, одну строго религиозно-богословского содержания, другую более общего характера — о русской духовной культуре. Всего им было наговорено до 3000 проповедей. Передачи о. Александра пользовались широким успехом в Советской России. В 1972 году, в частном письме, Александр Солженицын необычайно верно и ярко охарактеризовал проповеднический дар о. Александра:

«Давно уже я с духовным наслаждением слушал по «Свободе» в воскресные ночи, когда удавалось, проповеди «доктора философии, отца Александра» (фамилия ни разу не называлась), — и поражался, как неподдельно, современно и высоко его искусство проповеди: ни ноты фальши, ни миллиметра натяжки, без пустой дани обязательной форме, ритуалу, когда слушателю становится неловко или чуть стыдно за проповедника или за себя, — всегда сильная глубокая мысль и глубокое чувство»...

В те же годы почитатели о. Александра не раз обращались к нему с просьбой наиболее значительные из этих передач издать книгой. Отец Александр, остро ощущая расстояние между «наговоренной» проповедью и печатным текстом, не отказывался, но и не торопился

с изданием. И только в последний год жизни, когда болезнь заставила его сократить общественно-церковную деятельность, приступил к редактированию некоторых проповедей... Однако составить книгу у него уже не хватило времени... В подготовке настоящего сборника приняла участие его жена, Ульяна Сергеевна Шмеман, проведшая первый отбор проповедей по трем основным темам: Основы веры, Церковный год и Почитание Божьей Матери (в последний раздел вошли Богородичные праздники церковного круга). Нами же, во избежание слишком частых повторов, в отдельные проповеди внесены сокращения.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

О ВЕРЕ И ОТКРОВЕНИИ

І. О ВЕРЕ

1

Сколько бы ни проходило лет, и не лет только, а столетий, удивительные слова пушкинского «Пророка» остаются как бы эпитафией к судьбе человека на земле. «Духовной жаждою томим»... Сменяют одна другую цивилизации, изменяются формы жизни, меняется лицо земли — но неистребимой, неутолимой остается духовная жажда: драгоценный, а вместе с тем и мучительный дар, данный на земле только человеку, как признак и как сущность самой его человечности. Драгоценный потому, что влечет человека всегда ввысь, не дает ему успокоиться в одном животном счастье, приобщает его высшим, ни с чем не сравнимым радостям. Мучительный, потому что так часто противоречит его земным инстинктам, делает всю его жизнь борьбой, исканием, тревогой.

Почти все в мире как бы говорит человеку: откажись от духовной жажды, отрекись от нее, и будешь сытым, здоровым и счастливым. Как писал на заре этого века в одном из самых печальных своих стихотворений Блок, «будьте же довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы...» И вот возникают целые идеологии, построенные на отказе и отречении от духовной жажды, на ненависти к ней; идеологии, всеми силами стремящиеся к тому, чтобы заглушил в себе человек самый источник этой жажды, чтобы признал ее иллюзией и самообманом и включился в строительство жизни, уже начисто лишенной какого бы то ни было искания. Если чем-нибудь, на глубине, а не только на поверхности, отличен наш XX век от предшествующих, то, конечно, прежде всего — предельным заострением двух противоположных, противостоящих одно другому восприятий человеческой жизни и самого человека. Для одного из них человек пото-

му и человек, что есть в нем духовная жажда, искание, высшая тревога. Для другого — только убив ее, начинает человек свою человеческую судьбу. Все остальное в той борьбе, что ведется в современном мире, в конце концов, второстепенно. Ибо только из этого глубинного, первичного вопроса вытекает все остальное: политика, экономика, культура, все то, о чем так страстно спорят и во имя чего борются друг с другом люди.

И потому — хотят этого люди или не хотят, сознают они это или нет, но в сердце, в самом центре современности стоит вопрос религиозный. Ибо религия, по самой сущности своей, и есть явление и присутствие в мире именно духовной жажды. Как запах дыма свидетельствует о том, что где-то горит огонь, даже если мы и не видим его, так и наличие в мире религии, каковы бы ни были ее формы, есть несомненное свидетельство, что не перестает в человеке жить духовная жажда, духовное искание...

Нам, правда, стараются доказать, что религия — это успокоенность, отказ от борьбы, измена человека самому себе, что она — мертвый и неподвижный догматизм, уводящий от острых вопросов и от исканий, однако утверждающие это неизменно замалчивают слова, составляющие сердцевину религиозного опыта и религиозной веры: «блаженны алчущие и жаждущие». «Ищите и обрящите...». «Не мир принес я в мир, а меч...».

Примечательно, что борьба с религией у тех, кто ненавидит ее, всегда основана на элементарной, грубой лжи и без этой лжи не могла бы просуществовать ни одного дня. Но ложь эта сегодня столь очевидна, что, может быть, о ней уже и говорить не стоит. А вот о самой духовной жажде, о том, жаждой чего она является, в томлении о чем состоит, исканием чего наполнена, — вот об этом говорить нужно, ибо нет, повторяю, сейчас в мире более важной темы. Стоит мир сейчас как раз на том перепутье, о котором говорит поэт:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

Сталкиваются в мире с небывалой силой разные обращенные к человеку призывы. Сходятся и расходятся разные пути. И все страшнее, все ярче над ним зарево неслыханных катастроф, небывалых потрясений. «Имеющий уши, чтобы слышать, да слышит...»

Уже не выбраться нам из всего этого частичными мерами, заплатами на распадающейся и истлевающей материи. Опять начинаем понимать мы, почему о спасении, именно о спасении возвещает Евангелие, почему к гибнущим обращено. И говорит Христос: «Огонь пришел я низвести на землю, и как томлюсь, пока он разгорится». У нас нет силы явившегося пророку на перепутье шестикрылого серафима. И, однако, каждый в меру своих сил призван сегодня свидетельствовать о главном.

Религия только тогда религия, когда она о главном. Когда она одновременно и проявление духовной жажды человека, и ответ на нее, огонь — и очищение и преображение огнем этим нашей слабой и постыдной жизни. Новый Завет кончается страшными, но и радостными словами: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се грядет скоро... Жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром...».

Только бы не изменить духовной жажде, данной нам, только бы открыть глаза и открыть слух к тому ливню света, любви и красоты, что извечно льется на нас. Пусть поможет Бог всем нам быть верными и твердыми, смиренными и любящими. Тогда не сможет скрыться свет, извечно светящий в мире, спасение — дарованное миру..

Несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных лиц — писателей, философов, людей искусства — с просьбой написать небольшую книгу на тему «Во что я верю». Большинство этих людей — верующие, и при этом — члены католической Церкви, то есть Церкви, меньше чем другие допускающей так называемую свободу мнений, и это значит — в основном требующей конформизма.

И вот, несмотря на это, ответы опрошенных оказались глубоко разными, и каждый из них читается с захватывающим интересом. Одна и та же вера, преломляясь в личном опыте, личном восприятии и переживании, становится новой и личной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей.

Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве прежде всего в плане безличном, объективном, догматическом. Не только враги религии, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, как и чему учит христианство, что и как утверждают верующие. Между тем, вера, по самой природе и сущности своей, есть нечто глубоко личное, и только в личности и в личном опыте она живет по-настоящему. Только тогда, когда то или иное учение Церкви, тот или иной, как мы говорим, догмат, то есть утверждение некоей истины, становятся моей верой и моим опытом, и следовательно, главным содержанием моей жизни, только тогда — вера эта живет. Если взглядеться и вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, то очевидно становится, что по-настоящему убеждает, вдохновляет и обращает именно личный опыт. В христианстве же это особенно важно, потому что христианская вера на глубине своей есть некая личная встреча со Христом, принятие, в конце концов, не того или иного уче-

ния или догмата о Христе, а самого Христа. Христианство, иными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречают, узнают, любят люди одного и того же Христа. Но Христос обращен к каждому, и каждая вера, вера каждого, будучи укоренена в общей вере, вместе с тем — единственна. Напомнить же об этом важно, потому что в наши дни враги веры все пытаются свести спор о вере и о религии к какому-то научному спору, разбить верующих научными аргументами, как если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы, тогда как в этом научном, лучше же сказать — ложнонаучном плане все то, что утверждают христиане как содержание своей веры, действительно недоказуемо. Для них, однако, оно и не требует никаких доказательств, ибо оно в их опыте, они знают непосредственно реальность этого опыта, как знает человек в себе реальность любви, восхищения, жалости, сострадания... А это значит, что если веру нельзя доказать, то о ней можно рассказать. Таким рассказом о вере, а не научной сводкой о фактах, является, в сущности, и само Евангелие. Это передача теми, кто видел и слышал Христа, и поверил Ему, и полюбил Его так, что Он стал их жизнью, — именно своего опыта. Потому и остается Евангелие навеки живым, потому-то и ударяет прямо в сердце, тогда как философские и богословские трактаты часто оставляют ум и сердце холодными.

Больше всего нужен нашему холодному и жестокому веку живой рассказ о живой вере, передача не просто знаний, не просто фактов, а самого опыта веры. Пускай каждый из нас, верующих, знает твердо и несомненно, что вера его — слабая, недостаточная, что и к нему обращены слова Христа: «О вы, маловеры!» — но все же, в лучшие минуты, есть у нас этот опыт, единственный и ни с чем не сравнимый, ибо если бы не было его у сотен тысяч людей до нас — откуда бы пришла к нам эта вера, почему бы мы знали, что две тысячи

лет назад произошло в мире событие, имеющее непосредственное, решающее значение для нашей жизни сейчас. А ведь именно в этом и состоит вера — в таинственной уверенности, что все то, что сделал и сказал Христос, он сделал для меня, сказал мне, что не отделен Он от меня ни веками, ни пространством, ничем, кроме моего маловерия, моего забвения, моих бесчисленных измен Ему.

Так вот, я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, «богословском» содержании, но прежде всего — в ее личном проращении в душе. Что бы я ответил, если бы мне сказали: что значит для вас Бог, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос? Вот, говорят христиане, что Он умер за нас, что Он воскрес из мертвых, что в Нем побеждена смерть; вот поют в ваших церквах «и мертвый ни один во гробе», а вокруг нас продолжает царствовать смерть. Что же все это значит — не на словах только, не в ссылках ученых книг, что значит это в реальной и живой жизни одного человека? Вы говорите всегда о Церкви, но в чем ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов. И за всеми этими словами ведь должен же стоять некий живой и личный опыт, иначе — что же они значат? А вместе с тем в нашем мире, так далеко ушедшем от веры, — так трудно прорваться к нему, к этому опыту, так трудно «по душам» поговорить о нем.

За тридцать лет священства я понял, что самое трудное в мире — это говорить о самом простом, о самом насущном. Гораздо легче излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами. И так трудно — от сердца к сердцу.

Я верю в Бога... Но что такое вера? Если вдуматься в то, что значат эти слова, посмотреть на это утверждение — «я верю в Бога» — как бы со стороны, оно становится таинственным... И это несмотря на то, что нам казалось — мы понимаем его.

Прежде всего, конечно, очевидно, что вера не то же самое, что знание, во всяком случае — знание в общепотребительном, житейском смысле слова. Если я говорю: «Я верю в Бога», т. е. я знаю, что есть Бог, — то знание это ни в коем случае не подобно тому знанию, что в моей комнате стоит стол, а за окном идет дождь. Это последнее знание, то, которое мы называем объективным, не зависит от меня, оно входит в мое сознание помимо моей воли, помимо какого бы то ни было свободного выбора. Оно действительно «объективно», и я — то есть субъект, личность во мне — могу только принять его, сделать его своим. Когда же я говорю, что я верю в Бога, утверждение это требует выбора, решения; предполагает, иными словами, какое-то очень личное участие всего моего существа. И как только это личное участие, этот выбор исчезает — мертвой, фактически несуществующей становится и моя вера. Верим-то мы по-настоящему отнюдь не всегда, так что веру никак нельзя превратить просто в объективную, всегда самой себе равную часть моих убеждений, моего мировоззрения.

Много людей обращается к Богу в страхе, в несчастье, в страдании, но проходят эти минуты, и люди возвращаются к жизни, никакого отношения к вере не имеющей, и живут так, как если бы никакого Бога не было. Еще больше людей верит не столько в Бога, сколько, как это ни странно, — в религию. Им попросту хорошо, уютно, успокоительно в храме, многие из них с детства привыкли к этой «священности» храма и обрядов. Здесь все красиво, глубоко, таинственно — не то

что в уродливом и злом повседневном мире. И люди, в сущности, никогда не задумываясь и не углубляясь, держатся за эту «религиозность». Но это почти не имеет отношения к «реальной» жизни. Религиозность дает хорошие и чистые «переживания», помогает жить. И все же религия здесь сама по себе, а жизнь сама по себе.

Наконец, есть третья категория людей. Это те, которые считают, что религия полезна и нужна для человеческого общества, для нации, для семьи, для детей, для умирающих и больных, для поддержания честности и морали, которые, иными словами, сводят религию к приносимой ею пользе. Я помню, когда я был молодым священником, матери обращались ко мне, прося помочь им — при помощи исповеди — искоренить в их детях ту или иную скверную склонность. «Скажите моему ребенку, что Бог все видит, он испугается и не будет делать этого и этого...»

Религия — помощь и утешение. Религия — как некое удовольствие от священного и возвышенного. Религия как польза. Замечу, что во всем этом есть своя доля правды. И однако, сведенная только к этому религия не есть та вера, о которой апостол Павел на заре христианства сказал: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».

Вдумаемся в эти странные слова: «осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом». Странные потому, что каждое из них включает в себя, по-видимому, противоречие. Ведь если я чего-то ожидаю, то потому как раз, что оно еще не осуществилось, иначе нечего было бы и ожидать... И как может невидимое, то есть то как раз, что не может быть проверено, быть увидено, узнано, стать во мне уверенностью, то есть достоверностью, реальностью, обладанием? А между тем, именно так, именно этими с виду парадоксами определяет апостол Павел веру. Заметим, прежде всего, что в этом определении нет слова Бог. Это слово появляется дальше, в следующих стихах его послания. Тут

же он говорит о вере, как об особенном, присущем человеку состоянии, о некоем даре, которым он обладает.

Что же это за дар? На вопрос этот можно ответить так: стремление, тяга, ожидание чего-то желанного, предчувствие чего-то иного, для чего только и стоит жить.

И вот странно: почти так же определяет человека безбожник-философ Сартр: человек, говорит он, «есть бесполезная страсть». Он называет эту страсть, это стремление «бесполезными», потому что, по его убеждению, они иллюзорны и на деле человеку некуда стремиться, нечего ожидать, нечего жаждать. Но важно то, что и он находит в человеке ожидание и жажду. Так вот, вера, по апостолу Павлу, и есть знание того, встреча с тем, чего человек, сам того может быть не зная, ожидает; стремление и жажда, которые и являются его жизнью. Не будь этой жажды, этого ожидания, не было бы и встречи. И не будь того, чего человек жаждет, не было бы в нем и этого ожидания. И в этой встрече невидимое — становится уверенностью, то есть обладанием и реальностью.

Все это значит, что в христианском опыте веры эта последняя есть плод и проявление не знания просто, не вывод из рассуждений и проверок, не умственная выкладка и, вместе с тем, не просто религиозная эмоция, которая сейчас есть и которой через минуту, может быть, не будет, ибо она выветрится, но вера есть — встреча, реальная встреча чего-то самого глубокого в человеке, некоего присущего ему ожидания с тем, на что это ожидание направлено, даже если и не знает этого человек. Об этой встрече, об этом «осуществлении ожидаемого» и «уверенности в невидимом» лучше всего сказал блаженный Августин: «Для себя создал Ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше в нас, пока не найдет Тебя». А это и подводит нас к третьему, самому таинственному слову нашего исповедания веры: «Я верю в Бога», — это подводит нас к слову Бог.

«Бога никто никогда не видел». Это сказал не атеист и не сомневающийся в своей вере верующий, и не так просто — обыватель, занятый своими делами и для тем возвышенных не имеющий времени. Это сказал апостол Павел, чья страстная, огненная вера сквозь тысячелетия опалает всякого, берущего в руки его послания.

«Бога никто никогда не видел». Но что же тогда означает эта извечная вера? На что, на кого она направлена? Что вкладывает человек в это таинственное, самое логически необъяснимое из всех созданных человеком слов? До сих пор, говоря об утверждении «я верю в Бога», я говорил о двух первых словах этого утверждения, о «я», с которого оно начинается, и о вере, которую это «я» исповедует. Я говорил о вере, что это, прежде всего, некая отдача себя, или — самоотдача, но которая только потому и только тогда возможна, когда человек знает, узнает то, чему он себя отдает, подобно тому, как и любовь загорается в душе одновременно с появлением любимого. Но вот любимого мы видим, и видя — знаем, и узнавая — любим. А Бога «никто никогда не видел». Значит ли это, что мы его чувствуем?

Здесь раскрывается бедность, недостаточность, беспомощность слов, когда ими нужно выразить главное и потому до конца невыразимое. Ибо совершенно очевидно, что слово «чувство, чувствовать» может означать столько разных состояний, движений ума, настроений, что на нем одном не построишь, из одного него не выведешь веры. Да, конечно, чувство, но чувство глубочайшим образом отличное от всех других чувств, действительно, по отношению к ним — инородное. Ибо о чувствах можно сказать то, что часто говорят о вкусах: «О вкусах не спорят» — одному нравится одно, другому — другое. Один чувствует так, другой этак. И если

вера — только одно из таких мимолетных чувств, если она зависит от наших преходящих эмоций, то, действительно, о ней не поспоришь. А именно к такому «чувству», к такой субъективной эмоции и сводят ведь веру те, кто борется с нею. Один, говорят они, верит в таинственную и злую цифру 13, другой — в наговоры и заклинания, третий — в святую воду, четвертый еще во что-то, и вот выходит так, что за верой не стоит ни какого-либо твердого знания (ибо «Бога никто никогда не видел»), ни даже однородного чувства, ибо чувства основаны на эмоциональном складе данного человека. Поэтому, повторяю, слово чувство недостаточно, или же оно должно быть уточнено, очищено от всего, что в нем не есть как раз сама вера.

Так вот, в чем же единственность, абсолютная особенность того чувства и состояния, которое мы называем верой? В том, конечно, что она есть ответ, а ответ не только предполагает наличие того, кому мы отвечаем, но и удостоверяет это наличие.

Вера есть ответное движение не души одной, а всего человека, всего его существа — вдруг что-то услышавшего, вдруг что-то узревшего и отдающего себя этому движению. На языке христианства это можно выразить так: вера от Бога, от Его инициативы, от Его призыва. Она всегда ответ Ему, отдача человеком себя Тому, кто дает себя. Как изумительно сказал Паскаль, «Бог говорит нам: ты не искал бы меня, если бы уже не нашел». И потому что вера — ответ, ответное движение, в ней всегда остается и искание, и жажда, и стремление. Я ищу в себе, в своем опыте, в своем чувстве ответа на вопрос — почему я верю? И вот, не нахожу его.

Что Бог для меня? Объяснение мира и жизни? Нет, ибо мне очевидно, во-первых, что не из-за этого объяснения я верю в Него, и, во-вторых, что моя вера в Бога как раз и не «объясняет» рационально всех тайн и загадок мира. Мне приходилось не раз в жизни стоять у постели умирающего в страшных мучениях ребенка.

И что же? Мог я объяснить что-либо окружающим, доказать, оправдать, как говорят, «религиозно» эти мучения и эту смерть? Нет. Я только мог сказать: Бог здесь, Бог есть. Я мог только исповедать всю неизмеримость этого присутствия с нашими скорбными земными вопросами. Нет, конечно, не из нужды в объяснении вера. Но тогда откуда же? От страха загробных мук, от боязни полного исчезновения, от заложенного во мне страстного и, в конце концов, эгоистического желания не исчезнуть? Нет, ибо детским лепетом представляются мне самые умные философские рассуждения о загробном мире, вечности и так далее.

Что я знаю обо всем этом? И что могу другим сказать? И не потому я верю в Бога, что я хочу загробной жизни и вечности, а потому в жизнь вечную верю, что верю в Бога. Но тогда на вопрос всех вопросов — почему я верю? — я могу ответить только одно: потому что Бог дал мне эту веру и все время дает. Дал именно как дар, как подарок, в котором удостоверяет меня та абсолютно ни от чего в мире не зависящая радость, тот абсолютно ни от чего в мире и жизни не зависящий мир, которые я ощущаю в себе, — о! — не всегда, редко, иногда, в те минуты, когда слово Бог перестает быть словом, а становится как бы водоемом, по которому льется лавина света, любви, красоты, льется сама жизнь.

«Радость и мир в Духе Святом», — так сказал апостол Петр, и нет других слов, ибо, когда веришь и живешь верой, уже и слов не нужно, и они почти невозможны... Но тогда спросят меня: почему же не всем дан этот дар, этот подарок веры? Почему одни верят, а другие не верят? Что же это — избранничество? И почему есть те, кто верил и веру потерял? Все это важные, главные вопросы.

В утверждении «я верю в Бога» мы распознали, почувствовали, пускай даже и неясно, «ощупью души», — прежде всего некий дар, подарок свыше. Я не столько сознательно, дедуктивно, разумно прихожу к вере в Бога, сколько нахожу ее в себе, нахожу с удивлением, радостью и благодарностью. Нахожу как присутствие, таинственное, но столь ясно ощутимое, Того, Кто весь — мир, радость, тишина, свет. Это присутствие не может быть от меня, ибо нет ни во мне, ни в окружающем меня мире — ни этой радости, ни света, ни тишины. Откуда же они? И вот я говорю слово, которое все это выражает, все это называет, и которое в отрыве от этого опыта, от достоверности этого присутствия не имеет никакого смысла: я говорю слово «Бог». Я не мог бы сказать этого непонятого слова, если бы не было у меня этого опыта, однако, произнося его, я как бы освобождаю этот опыт, это чувство от их субъективности, мимолетности, расплывчатости. Я называю его содержание и тем самым принимаю этот дар и отдаю ему возвратным движением всего моего существа самого себя.

«Я верю в Бога». И вот оказывается, что эта вера, которую я нашел на самой глубине своей души, не только моя, не только мой личный, непередаваемый, несказанный опыт, а что она — по-новому связывает меня с людьми, с жизнью, с миром, оказывается как бы освобождением от одиночества, на которое, в той или иной мере, обречены все люди. Ибо если радостным было нахождение веры в себе, в своей душе, в своем сознании, то не менее радостным оказывается нахождение той же веры, того же опыта и в других. И не только сейчас, тут, вокруг себя, у людей, схожих со мной, — но и через века, через пространство. Вот открываю я древнюю книгу, написанную более чем за тысячу лет до нашей эры, в мире почти совсем не похожем на наш, теперешний, и

читаю: «Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издала. Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем — Ты, Господи, уже знаешь его. Сзиди и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое — высоко! — Не могу постигнуть его! Куда пойду от духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря — и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли: может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но тьма не затмит от Тебя, и ночь светла как день: как тьма, так и свет. Ибо Ты создал меня и соткал во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя сознает это... Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобюю... Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои: не на опасном ли я пути — и направь меня на путь вечный».

Это псалом 138, молитва, написанная несколько тысяч лет тому назад. Но вот я читаю ее и удивляюсь: Господи, да ведь это все как раз так, как я чувствую и переживаю, это мой опыт, это обо мне и от меня сказано, и даже эти детские слова, это косноязычие, пытающееся выразить, «выпеть» то, что выше слов, — все это мое. И значит вера живет веками, значит миллионы людей чувствовали то же самое, и наполняется сердце радостью, когда от избытка веры вспыхивают эти удивительные слова: «но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет...». В этом свете я по-новому вижу мир: несмотря на всю его тьму, он светит для меня первозданным светом: действительно

«дивны дела Твои и душа моя сознает это...». Я по-новому вижу и сознаю себя, грешный, слабый, боящийся, поработанный, и повторяю слова псалма: «славлю Тебя, потому что я дивно устроен...». Потому что дан мне этот тайный орган знания внутреннего, потому что могу я узнать то, что высоко и дивно и славно, могу захотеть высокого ведения и высокой жизни, могу различить между путем опасным и путем вечным.

И еще последнее узнаю я этой верой: узнаю, что все в мире говорит о Боге, являет Бога, светится Им: как лучезарное утро, так и ночная тьма, как счастье и радость, так и страдание и горе. И если столь многие не видят этого, то потому что я — и подобные мне верующие — оказываюсь слишком слабым свидетелем веры, потому что с самого детства окружаем мы человека мелочностью, ложью, внушаем ему не искать и не жаждать глубины, а желать маленького и призрачного счастья и маленького призрачного успеха, потому что приковываем его внимание к суете и к тщетному. И вот зарастает в нем тайный орган света и любви и наполняется мир — липкими потемками неверия, скепсиса, и дальше — эгоизма, ненависти и злобы. Но и в этих потемках, и в этом страшном падении и измене не оставил нас Бог. И мои слабые слова о вере в Бога были бы пустыми, если бы, в заключение, я не исповедал веру уже не просто в Бога, а в Того единственного Человека, в котором Бог пришел в мир, а в мире — к каждому человеку, чтобы спасти и возродить его. «Я верю в Бога». Но Бог — в полноте радости и обладания — открывается во Христе.

II. ОБ ОТКРОВЕНИИ

1

Всякая попытка объяснить или понять сущность христианства, сущность веры и сущность жизни христианской с самого начала наталкивается на одну трудность. Трудность эта типична для нашего времени и состоит в пресловутом требовании «доказательств». А доказательством в данном случае называется только научное доказательство, то есть такое, которое построено на чем-то, что доступно проверке, объективному, не зависящему от наших субъективных переживаний опыту.

Раз Бога не видно, Он не осязаем, не измеряем и присутствие Его установить невозможно — значит Бога нет: вот, в самой примитивной форме, суть основного антирелигиозного доказательства. И хотя в опровержение этого аргумента можно было бы сказать многое (например, также недоказуемо присутствие ума у человека), мы остановимся на одном лишь вопросе. И обратимся не к атеистам, не к тем, кто опровергает и отрицает существование Бога, а к верующим, к тем, кто утверждает, что Бог есть. Вопрос этот следующий: если действительно, как словами Евангелия сказано, «Бог никто никогда не видел», то все-таки на каком основании мы утверждаем, что Бог есть, и горестно удивляемся отвержению Его неверующими? Мы говорим, что доказательства, приводимые неверующими, неверные, что они к Богу неприменимы, что они оправданы и действительны только по отношению к видимому, осязаемому, эмпирическому миру. Бога, мы говорим, познать можно только верой. Но тогда остается все-таки вопрос: откуда, как рождается в нас вера? Верующий, конечно, может ответить так: мне не нужно доказательств, для

меня веры достаточно. Верно. Но верно для верующего. А если верующего спрашивают, и спрашивают искренне: как же ты поверил, что привело тебя к вере? Неужели ты отвергнешь этот вопрос и замкнешься в своем горделивом эгоизме?

Итак, вопрос законен, и от него не отмахнуться. Мы отвергаем доказательства, которых у нас требуют безбожники, мы смеемся над космонавтом, который говорит, что был на небе и не нашел там Бога; но мы не можем отмахнуться от вопроса о том, каковы же, в таком случае, другие, то есть наши доказательства. И вот тут-то и приходим мы к самому глубокому, центральному утверждению христианства, с которого только и можно начать его объяснение. Мы приходим к основному для нашей веры понятию откровения.

Вера есть ответ человека Богу, и этот ответ предполагает, что инициатива того отношения человека к Богу, которое мы называем верой, принадлежит не человеку, а Богу. Бог открывается человеку, человек принимает это откровение, отвечает на него, отвечает Богу. Вот почему и нет у верующего доказательств, убедительных для неверующего, доказательств, так сказать, «объективных», а вместе с тем, для него, верующего, вера самоочевидна, как самоочевиден и Бог, на которого она направлена. Но давая этот ответ, говоря об откровении Бога человеку, мы отлично понимаем, что неверующему ответ этот покажется неубедительным. Отлично, скажет неверующий, ты утверждаешь, что тебе открылся Бог, и потому ты веришь. Но мне Бог не открылся, и, следовательно, мое неверие оправдано, и нам говорить больше не о чем. Поэтому простой ссылки на откровение недостаточно... Нужно спросить: возможно ли объяснить другому, в том числе и неверующему, как открывается Бог, в чем состоит откровение?

Вся Библия буквально наполнена такими выражениями: «И сказал Бог Аврааму...», «...и сказал Бог Моисею...». Но что выражения эти значат? Как это говорил

Бог, как это раскрывал Он свою волю людям? Многим все это кажется сказками как раз потому, что самое главное — в вере: самоочевидный для нее факт Божественного откровения, Божественной инициативы, записанный в этих детских фразах — «и сказал Бог», — уже давно никто не разъясняет людям. Но если, как всегда утверждало и утверждает христианство, вера начинается с откровения Бога, с зова, который слышит — и потому отвечает на него — человек, если прежде, чем мы обращаемся к Богу и находим Его, Он обращается к нам, находит нас, открывается нам, то тогда должны же мы суметь хоть что-то сказать об этом откровении. Иначе мы должны признать верными, правильными слова атеиста: а вот мне никакой Бог не открывался, и потому неверие мое законно.

Однако разве можем мы, верующие, допустить, что миллионы людей как бы забыты Богом, что почему-то открывается Бог одним, сравнительно немногим, а другим не открывается? Разве можем мы допустить непонятную несправедливость в Боге? Если Бог, как мы утверждаем, это Бог любви, то всех же любит Он, всех зовет к себе, от всех ждет ответной любви, ответной веры. Но тогда и откровение, о котором мы говорим, что оно стоит в самом сердце веры и что в ответ на него только и возможна вера, — тогда и откровение это не некое необъяснимое чудо, не нарушение законов природы, не нечто сверхъестественное, а, скажем прямо, само — высший закон мира и природы. Только закон, которого не видят и не понимают люди, потому что их внимание и зрение обращены в другую сторону, потому что они, говоря опять словами Евангелия, «глазами своими смотрят и не видят, ушами своими слушают и не слышат...», и потому — «не обращаются к Богу».

Каждый Божий день начинает Церковь с торжественного и радостного утверждения что Бог явился. Так вот, в чем же это Его явление, Его откровение?

Бог открывается людям, и ответ на это откровение, принятие его — и есть вера. Сравнительно с недавних пор слово «откровение» стало восприниматься как синоним чего-то сверхъестественного, чудесного, чего-то, противоположного положительному знанию, несовместимого с наукой. И произошло это отнюдь не от расширения человеческого разума и сознания, а наоборот — от их поразительного сужения и обеднения. Действительно, возникшее всего лишь два с половиной столетия тому назад убогое, поверхностное и скучное восприятие мира, называемое себя «позитивизмом», постепенно лишило человека (да и то, к счастью, не каждого человека) восприятия мира неизмеримо более глубокого и богатого. Надо понять, что мы живем под тиранией упрощенных идеологий и мировоззрений, раз навсегда решивших, что к миру, к жизни, ко всему подходить можно и нужно только с таблицей умножения и что эта таблица умножения способна ответить на все без исключения вопросы.

Прибавлю, что в этом странном упрощении и обеднении человеческого сознания, в этой тирании подлинные ученые и подлинная наука не виноваты. Виноваты в этом «идеологи» — странная порода людей, свои собственные идеи, свое мировоззрение выдающих за «науку» и навязывающих их людям открытым насилием. Так, например, настоящие ученые не дают точного определения понятия «материя», а вот идеологи преспокойно утверждают, что вся истина заложена в «материализме». И получается уравнение с одними неизвестными. Ибо что такое «материализм», если не ясно, что такое «материя»? Как применять к жизни «законы природы», над которыми все еще бьются величайшие ученые? Надо нам понять наконец, что мы живем в мире, которым завладели самозванцы, прикрывающиеся на-

укой, которой они не знают, и буквально запугавшие людей. «Никаких откровений быть не может, это противоречит науке», — самоуверенно провозглашают они, и миллионы людей послушно и пугливо повторяют это.

Но если на минуту освободиться от навязанного нам плоского и поверхностного и, главное, предельно упрощенного понимания мира, то возможным, приемлемым, убедительным — а в пределе и самоочевидным — становится совсем другой подход ко всему в мире, совсем другое мироощущение. Внезапно слово «откровение», слово «чудо» перестает быть порождением темноты и необразованности, каким их сделал плоский «позитивизм». А что если в каком-то совсем другом, глубоком — а вместе с тем по-детски простом — смысле все в мире и вся жизнь есть откровение, все чудо, все — тайна, к которой обожествленная таблица умножения не имеет никакого отношения? А что если — самый глубокий и вместе самый очевидный опыт каждого человека в том как раз, что все в мире есть и то, что оно есть (что познает в нем таблица умножения), и одновременно нечто иное, чего никакая таблица умножения познать и определить не может, и что открывается нам, является, входит в нас как самое важное и драгоценное в нашей жизни.

Наука изучает природу. Но разве совсем по-другому не изучают ее также поэзия, музыка и искусство, разве не какую-то другую, но тоже правду, и правду может быть гораздо более нужную нам, не открывают они нам о природе? «О чем ты воешь, ветер ночной?» Что это — бессмысленные, абсурдные слова, никакого отношения к жизни не имеющие, — или же лгут идеологи, отрицающие самоочевидный для всех людей факт: что все в мире одновременно и скрывает, и являет некий более глубокий смысл, что все в мире и в жизни говорит нам о чем-то, свидетельствует о каком-то таинственном присутствии, обещает, сулит иное знание, иное постижение. Обо всем этом можно было бы говорить без кон-

ца, но может быть и сказанного достаточно, чтобы хоть чуть-чуть почувствовали мы, что христианство говорит об откровении, что это не просто какое-то странное и необъяснимое явление, а прежде всего — нечто, засвидетельствованное опытом человечества... «Небеса поведают славу Божию». «Всякое дыхание да хвалит Господа». Скажем просто: сам мир, саму жизнь ощущает вера как откровение, как присутствие невидимого в видимом. По существу, живет человек по-настоящему именно откровениями. Откровением красоты, откровением любви, откровением природы, откровением добра — всем тем, о чем таблице умножения сказать нечего и что, однако, всегда и всюду составляло подлинный смысл и настоящее содержание жизни.

Итак, все это есть самое первое и самое общее откровение, и мы знаем его. Оно приходит к нам от природы, приходит от другого человека, приходит от любви, приходит от радости и от страдания. Оно льется на нас из нашего детства, когда все воспринимали мы как чудо, как откровение. И в лучшие минуты нашей жизни мы знаем, что прав был Достоевский, когда назвал его — «касанием миров иных...». И уже, конечно, на этой ступени, в этом безотчетном опыте откровения, нужно было бы человеку признать, что не может быть у него иного источника, кроме Бога. Но допустим, что почему-то не делает этого вывода человек, или же противится ему. Не видит, не слышит Бога, открывающегося ему в мире... Допустим и пойдем дальше. Запомним, однако, что ощутили мы в мире тайну...

3

Если не идея, то опыт откровения является несомненным, первичным опытом человека. С первобытных времен человек осознавал себя живущим не только в чисто физическом, но и в духовном взаимодействии с

окружающим миром. Говоря проще, человек живет не только разумом, но и чувством. Чувство — это и есть орган восприятия всего того в мире, в природе, в жизни, в общении с другими людьми, чего один голый разум воспринять не может. И нет ничего унижительного для религии в утверждении, что, прежде чем задуматься о Боге, прежде чем обратиться к Нему свой разум, человек чувствовал Бога. Подобно тому, как подлинное, глубокое общение с другим человеком дает нам чувствовать его «душу», то есть ту глубину его, которая раскрывается и в его внешнем облике, и в словах, и в поступках и, однако, к ним не сводится, так и в мире человек чувствовал присутствие, действие, откровение чего-то, что к одному внешнему свести нельзя. И вот это что-то он и назвал в какой-то момент своего развития Божеством, Богом. Не могло бы возникнуть это понятие, если бы не было реальности и опыта того, к чему оно относится. С этим должен согласиться самый бескомпромиссный «позитивист». Поскольку же понятие это — Божества — общечеловечно, поскольку мы находим его всегда и всюду, мы имеем право заключить, что и то, что мы называем «откровением», то есть чувство, опыт присутствия во всем внешнем и видимом чего-то внутреннего и невидимого, что «откровение» это не случайно, что оно — не исключение, а составляет некий первичный закон. Закон, который можно назвать законом «религиозной сущности человека». И этот закон, сколько бы нам не твердили обратное, не нарушается тем фактом, что в наши дни, например, много людей считают себя нерелигиозными, неверующими. Не нарушается потому, в первую очередь, что их отрицание веры, отрицание религии проводится во имя других «ценностей», и это значит — во имя другой веры, другого «откровения». Вот и все. Неверующий утверждает, что религия мешает установлению в мире счастья и свободы. Но откуда почерпнул он сам эти понятия «счастье» и «свобода»? Не из физики же или математики? В ко-

нечном итоге люди только и спорят, что об «откровениях», и потому так абсолютно верны слова Христа, записанные в Евангелии: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше...».

Но, конечно, этим «природным» откровением, этим свойственным человеку «религиозным чувством» не исчерпывается христианский опыт и христианское учение об откровении. Мы можем пойти дальше. Или, вернее, мы можем теперь вернуться к тому вопросу, с которого начали наши размышления о вере и о лежащем в основе ее откровении. В Библии, говорил я, постоянно рассказывается об особых откровениях. «И сказал Бог Аврааму — встань и пойдиди...». Или: «Было ко мне слово Господне, и сказал Бог»...

О каких явлениях идет здесь речь? Как связать их с тем «общим откровением», о котором я говорил выше? Ведь, с одной стороны, христианство, устами самого Христа, утверждает, что «Бога никто не видел», и каждый день в своей молитве Церковь называет Бога «невидимым, непостижимым, неописанным». Следовательно, речь в библейских рассказах не может идти о каких-то «физических» явлениях Бога. Но вот, с другой стороны, так очевидно, так властно, так неотвержимо это откровение, что человек принимает его и исполняет. «И поверил Авраам Богу, и встал, и пошел в неведомую ему страну». Ясно, что здесь опять мы имеем дело с чувством, только с чувством бесконечно усиленным, неизмеримо более напряженным, интенсивным, чем то, которым мы обычно воспринимаем глубинный слой жизни. И разве не знал, не испытал каждый из нас в своей жизни таких исключительных по своей судьбоносности, по своей интенсивности моментов, когда действительно словно некий внутренний голос зовет, являет, открывает, призывает нас к какому-то, за минуту до этого неясному и спорному для нас, решению? Разве не испытали мы этих моментов, когда словно напрягается вся жизнь, когда вся она буквально зависит от

того, примем мы или не примем то решение, что так властно, так неотвратно растет из нашего сознания и совести?

Конечно, испытали, конечно, знаем! И сколько бы нам ни твердили, что все в жизни без остатка подчинено железному закону причинности и необходимости, мы всем существом, всем опытом знаем, что на деле так часто все, решительно все зависит от нашего выбора, от голоса совести, от таинственного прорыва в таинственную глубь нашего «я».

Мы никогда не узнаем точно, что произошло в тот день, когда принял Авраам свое судьбоносное решение, «поверил Богу», бросил все и ушел в страну далече и начал этим событием совсем новый ряд событий, приведших ко Христу. Мы никогда не узнаем точно, что произошло, когда, повинувшись все тому же таинственному наитию, поднялся Моисей на гору один и затем спустился с нее, неся людям заповеди — столь простые и столь вечные, что на них до сих пор держится мир. Но мы знаем, что произошли тогда события, коренным образом изменившие духовную судьбу человека. Знаем, что на глубине это был призыв и ответ, откровение и вера. Знаем, наконец, что откровение это и вера в ответ на него — были свободными, ибо не «физически», не принудительно дано было откровение, а изнутри, из глубины чувства человеческого. Авраам поверил, но мог и не поверить. Моисей послушался, но мог и не послушаться. Вот это триединство откровения, веры и свободы приводит нас вплотную к сущности христианской веры, лучше же сказать — к самому Христу.

4

В самом центре религиозного откровения или, вернее, религиозного опыта как откровения стоит — как его средоточие, как лучезарная его сердцевина — Хрис-

тос. Действительно, весь смысл христианской веры, единственность ее по отношению ко всем другим религиям в том, что в человеке Иисусе наша вера видит откровение Бога, явление Бога среди нас, на земле, во времени, во всей конкретности видимого, осязаемого, осязаемого мира.

Христианство, Церковь как бы все время настаивают на этой конкретности, историчности, всецелой человечности Христа. «О том, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали, и что осязали руки наши» — так начинает свое послание, свою проповедь Иоанн, любимый ученик Христа; и так неизменно учит Церковь. Не случайно в «Символе веры» — кратком изложении веры, которое каждый день повторяется и в церковном богослужении, и в личной, частной молитве верующих, — неизменно, упоминается имя Понтия Пилата, правителя Палестины в начале нашей эры. Этим именем, этой конкретной личностью, этим отнесением к ней всего, на что направлена вера, снова и снова утверждается, что тот Христос, в которого мы верим, — не мифическое существо, подобное языческим богам, обитавшим в каком-то мифическом мире, где-то, когда-то. Для христианской веры бесконечно важна эта связь Божественного откровения с земной историей, с земной жизнью. Откровение совершилось — «при Понтийском Пилате», и это значит — в определенный момент истории, в определенном месте, при определенных обстоятельствах.

Правда, неоднократно делались и все еще делаются попытки отрицать «историчность» событий, описанных в Евангелии, доказать, что Христа так же «выдумали», как и всех прочих «богов». Теперь уже совершенно ясно, однако, что попытки эти предпринимались не ради науки, а ради «идеологии». Настоящая наука, та, которая объединяет в своем методе, в своей «объективности» одинаково и верующих и неверующих, давно уже признает «историчность» Христа, хотя это и не значит,

что все ученые разделяют и принимают христианское, религиозное истолкование записанных в Евангелии событий. Отрицают историчность Евангелия только те, для кого отрицание это вытекает из потребностей их «идеологии». Те, для кого именно в историчности христианства — главная опасность его.

Для нас, однако, важны не эти устарелые и давно уже развенчанные попытки. Для нас важно понять, почему христианство свое учение, свою веру связывает как раз с исторической конкретностью вполне определенных исторических событий и людей, именно с ними связывает последнее и высшее религиозное откровение. История знает только человека Иисуса, и только вера узнает в Нем Бога: так можно кратко выразить главную сущность христианства. Однако в сущности этой раскрывается нечто бесконечно важное для понимания христианства, и прежде всего — христианское понимание Бога и человека. Враги религии всегда утверждают, что люди выдумали Бога от страха и что вся религия есть не что иное, как плод насилия. Но ведь вот как раз ничего принудительного, никакого насилия нет в том образе человека Иисуса, что дошел до нас через Евангелие. Одни люди слушали Его, другие не слушали, одни следовали за Ним, другие нет, одни любили Его, другие ненавидели — но ни одного человека не привлек к себе Христос насилем, ни одного не заставил верить себе и в себя принуждением. А между тем, те, кто полюбил Его, те, кто поверил в Него и принял Его учение, все единодушно признали Его именно Богом, приняли и Его самого, и Его учение как Божественное откровение. Не означает ли это, что христианский опыт, христианское понимание Бога — буквально обратно тому, которое навязывают ему носители атеистической идеологии, все в религии объясняющие страхом, тайной, насилем над умом и сознанием. Что в самом центре этого христианского опыта — опыт Бога, не насилующего человеческой свободы, выбора, решения;

Бога, ищущего только свободной веры, и это значит — веры как свободы. «Если любите Меня, заповеди Мои соблюдете», — говорит Христос, но именно полюбить-то и невозможно насильно, именно в любви-то и нет и не может быть никогда никакого принуждения.

Да, Бог открывается людям: открывается в природе, открывается в истории, открывается, наконец, в жизни — в явлении, учении одного человека, в одном, единственном по своему значению, ни на одно другое не похожем событии. Но открывается так, что человек свободен принять это Откровение, пережить его как свое спасение, как высший смысл и последнюю радость своей жизни, но свободен также и не увидеть, не различить откровения Бога, отвергнуть его. И это значит, что, веруя в Бога, ищущего свободного ответа человека на свое откровение, на свою любовь, — христианство утверждает свободу человека, точнее, человека — как свободное существо.

Таким образом, согласно христианству, связывает Бога и человека, соединяет их не внешнее «принуждение», а только любовь, самое свободное из всех свойств человеческих, и, согласно христианству, сама сущность Бога есть любовь. Его Евангелие называет Любовью. В любви творит Бог мир, и только любовью узнаем мы все в мире и в жизни как откровение Божественной любви. Любовью спасает Он нас, и только в любви узнаем мы Христа как явление, пришествие к нам, соединение с нами Бога-любви.

III. СИМВОЛ ВЕРЫ

1. Введение

В жизни христианской Церкви с давних пор занимал и продолжает занимать особое место так называемый Символ веры: сравнительно краткое исповедание того, во что верит Церковь. Слово «символ» в его первоначальном значении можно перевести так: то, что «держит вместе, соединяет, содержит». Так вот, Символ веры именно со-держит все эти истины, которые — верит Церковь — необходимы для человека, для полноты его жизни и для спасения от греха и духовной гибели.

Исторически Символ веры возник из приготовления новообращенных, т. е. вновь уверовавших, готовящихся ко вступлению в Церковь, к таинству крещения. В древности принимали крещение, главным образом, взрослые. Как и в наши дни, люди приходили к вере, принимали Христа, желали вступить в Церковь, стать членами церковной общины — каждый в итоге своего особого пути. Ибо всякое обращение, всякая встреча человека с Богом — есть тайна благодати Божией, проникнуть в которую нам не дано. Одни приходят к Богу в страдании и горе, другие в радости и счастье. Так было, так будет всегда.

Зарождение веры в душе человеческой есть тайна. И, однако, сама вера во Христа приводит человека к Церкви, к общине тех, кто верит во Христа. Сама вера ищет и требует единства верующих, которые именно этим своим единством, любовью друг ко другу свидетельствуют перед миром, что они ученики и последователи Христа. «Посему узнают все, что вы Мои ученики, — сказал Христос, — если будете иметь любовь меж-

ду собою». Любовь и единство веры, про которое ап. Павел говорит, что оно составляет главную радость христиан: «я весьма желаю увидеть вас, — пишет он христианской Церкви в Риме, — чтобы утешиться с вами общей верой, вашей и моей...»

Христианская жизнь новоуверовавшего начиналась, таким образом, с того, что его приводили к епископу местной Церкви, и тот начертывал рукою крест на лбу нового христианина, как бы ставя на нем метку Христову. Человек пришел к Богу, поверил во Христа. Теперь, однако, надлежит ему узнать содержание веры. Он становится учеником, его начинают, как говорится в церковных книгах, оглашать. Ибо христианство — это не эмоция, не просто чувство, нет, это — встреча с Истиной, это — трудный подвиг приятия ее всем существом. Как человек, страстно любящий музыку, для того, чтобы исполнять ее, должен пройти через трудное обучение, так и поверивший во Христа, полюбивший Христа должен теперь осознать содержание своей веры и то, к чему она обязывает.

Накануне праздника Пасхи — ибо в ранней Церкви крещение совершалось в пасхальную ночь, — каждый готовящийся к крещению торжественно читал Символ веры, совершал «отдачу» его, исповедовал его приятие и свое вступление в единство веры и любви. У каждой большой местной Церкви — Римской, Александрийской, Антиохийской — был свой крещальный символ веры, и, хотя все они были повсюду выражением единой и неразделимой веры, в стиле, фразеологии они различались между собою. В начале IV века в Церкви возникли большие споры, касавшиеся основного христианского учения о Христе как Боге. В 325 г. в городе Никее собрался первый Вселенский Собор, и на нем был выработан общий, единый для всех христиан Символ веры. Спустя несколько десятилетий, на втором Вселенском Соборе, в Константинополе, Символ веры был дополнен и получил название Никео-Царьградского, общего для всей

вселенской Церкви. Наконец, третий Вселенский Собор, в Ефесе в 431 году, постановил, чтобы этот символ оставался навеки неприкосновенным, чтобы, иными словами, не делалось к нему больше дополнений.

С тех пор вселенский Символ веры поется или читается в Церкви на каждой литургии. Он есть всеобщее, для всех обязательное выражение Церковью своей веры. И потому всякий, желающий узнать, во что верит Церковь, в чем наша вера, в чем та Истина, которую несет христианство миру, — ответ на это находит в Символе веры.

2. Верую...

Остановимся на том слове, с которого начинается Символ веры. Слово это — верую. Оно определяет собою всю тональность Символа веры, его духовную исключительность и единственность. Поэтому, хотя слово это кажется знакомым и понятным, в него нужно вдуматься, его нужно заново открыть и постоянно открывать для себя каждому из нас.

Итак, что говорю я, или, лучше сказать, — о чем говорю, когда произношу слово верую? Мне кажется, достаточно задать этот вопрос, чтобы ощутить, прежде всего, глубочайшее отличие самого слова «верую» от всех других, которыми я выражаю содержание моего внутреннего «я».

Когда я говорю — «я думаю», и мне и другим понятно, о чем идет речь: о направленности моего сознания на тот или иной объект. Сказать — «я думаю, что есть Бог» — это значит высказать некую догадку, построенную на тех или иных предпосылках... Когда я говорю «я знаю, убежден, ощущаю» — я остаюсь в пределах вполне объяснимых, разумных, ничего загадочного в себе не содержащих состояний моего сознания. Ни к одному из этих состояний слово «верую» неприменимо, так

как оно для них не нужно. Сказать «я верую, что идет дождь» — просто глупо, так как тут я имею дело с объективным фактом.

Таким образом, очевидно, что слово верую относится только к тому, что во мне и вне меня — лишено очевидности. К тому, иначе говоря, что лишено и чувственной очевидности, и очевидности рациональной, и, наконец, очевидности фактической.

А вместе с тем, и тут мы подходим к самому главному, слово верую не только существует и, следовательно, соответствует, хотя бы во мне, чему-то реальному и наполнено внутренней силой, т. к. не нуждается в подпорках извне. Я говорю «верую» только про то, что глазами не вижу, ушами не слышу, руками не трогаю, к чему не имеет отношения никакое «дважды два четыре», но во что я верю и что этой верой я знаю.

«Бога никто никогда не видел...». Для верующих вера отлична от всего, так как в том суть ее, что направлена она на то, что «просто» знать и «просто» доказать невозможно. В этом смысле веру можно назвать и чудом, и тайной. Чудом ощущает ее, прежде всего, сам верующий. Действительно, откуда в душе, откуда в сознании эта одновременно радостная и страшная несомненность присутствия, встречи, дух захватывающей любви? Словно не я, а какая-то сила во мне говорит верую в ответ на эту встречу. Я не могу объяснить ее словами, т. к. слова — все о земном, о фактах, о видимом и осязаемом. А опыт веры — так очевидно — опыт свыше — и как выразить, передать его? Словно не я куда-то пришел, а кто-то пришел ко мне, прикоснулся к моему сердцу: «се стою у двери и стучу!»... этот стук, это пришествие ощутила душа и радуется и знает...

Чудо и, следовательно, тайна. Вера — это прикосновение к тайне, узрение другого измерения, присущего всему в мире. В вере оживает тайный смысл жизни. За гладкой, объяснимой, однозначной поверхностью

вещей начинает светить их подлинное содержание. Сама природа начинает говорить и свидетельствовать о том, что над нею, внутри нее, но отлично от нее. Говоря самыми простыми словами — вера видит, знает, ощущает в мире — присутствие Бога. Она, по утверждению апостола Павла, есть «обличие вещей невидимых», и действительно — для верующего все в жизни и сама жизнь начинает ощущаться как явление. «Небеса поведуют славу Божию, творение рук его возвещает мир». Это — не поэзия, это голос, это свидетельство веры. Чудо, тайна, знание, радость, любовь. Все это звучит в слове «верую!» — одновременно и ответ и утверждение. Ответ Тому, кто возлюбил меня, утверждение моего принятия этого происшествия, реальности этой встречи. «Верую!» — и дальше весь Символ веры — рассказ, свидетельство о том, что узнала в этой встрече душа.

3. Во единого Бога Отца...

Верую во единого Бога. Это исповедание единого Бога есть начало всех начал, основа всех основ христианства. Христианство вошло в мир, в котором царил многобожие. Ибо дохристианский человек богом называл и обожествлял природу, т. е. многообразие действующих в ней сил. «Мир полон богов», — сказал греческий философ Фалес, и это, в переводе на теперешний язык, означало, что в мире действует множество сил и «законов».

Христианство своею проповедью, своим исповеданием единого Бога восставало против обожествления мира. Единый Бог — это значит, что все силы, вся жизнь, все «законы», все то, что живет в мире, и сам мир — от Бога, но не Бог. Язычество, многобожие чувствовало божественный источник мира, но не знало Бога. Его «боги» были всего лишь отображением самого мира. Отсю-

да в многобожии — соперничество «богов», отсюда идолопоклоннический, магический характер язычества.

Поэтому провозгласить, исповедать единого Бога — значит утвердить примат духовного, высшего бытия, которое одно способно явить смысл каждого явления жизни.

И сразу же Символ веры называет этого единого Бога — Отцом. «Верую во единого Бога Отца...». Ибо если слово Бог означает абсолютную высоту Божества, Его абсолютное превосходство над миром, опыт Бога, как Высшего, Недостижимого, Другого, то именование Бога Отцом утверждает не только связь Бога с миром, но и такую связь, сущность которой в любви, близости и заботе. Если христианство отвергает многобожие и провозглашает Бога как абсолютное бытие, то с такой же силой отвергает и то восприятие Бога, которое называется деизмом. Это понимание Бога как «причины», или, по знаменитой аналогии Вольтера, как Часовщика, создавшего сложный механизм, приведшего его в движение, но в самом движении уже не участвующего.

Именно такое — отвлеченное, чисто философское — понимание Бога и отвергается в именовании Его Отцом. Отец дарует жизнь, но продолжает любить свое создание, заботиться о нем, участвовать. Про Бога сказано в Евангелии, что «Он любовь есть». И потому в этом именовании Бога Отцом — уже заложена, уже выражена и наша ответная к Нему любовь, наше доверие, наше любовное, сыновнее Ему послушание.

Назвав Бога Отцом, Символ веры исповедует Его и как Вседержителя. «Верую в Бога, Отца, Вседержителя». Словом этим выражаем свою веру в то, что Бог, которого называем мы Отцом, содержит в Своем промысле — всю жизнь, или лучше сказать, — что все в мире Его, все от Него, все живет Им.

Ни на что не положило христианство столько усилий, как на борьбу с так называемым дуализмом, с ве-

рой многих христианских религий в существование двух начал: светлого и темного, хорошего и злого. Дуализм возник из опыта страдания, зла, уродства, царствующих в мире. Поскольку же страдание, зло, в понимании дуалистов, — от материи, то от нее нужно бежать в чистую духовность. «Материя» — от зла, она есть зло... Далее мы еще будем говорить о том, как понимает христианство зло, разлитое в мире, созданном благим и светлым Богом. Сейчас подчеркнем только, что понимание это исключает какой бы то ни было дуализм.

Мир создан любовью. И если отпадает от любви, то это именно падение, а не сущность мира.

И, наконец, исповедует Символ веры Бога Отцом, Вседержителем и «Творцом неба и земли, видимого же всего и невидимого». Мир сотворен, источник его в Боге. Он не сам из себя, не случайное сцепление клеточек, не абсурд. Он осмыслен, у него есть начало и есть цель, и все в нем отнесено к высшей Божественной мудрости: небо и земля, видимое и невидимое. «И увидел, что это хорошо...». Этим исповеданием отвергается всякое упрощенное понимание мира, всякое сведение его к чистой «объективности». Созданный Богом, мир отражает Божественную мудрость, Божественную красоту, Божественную истину. Все от Бога, все пронизано высшим смыслом — и в этом, как мы увидим дальше, — и радость, но и трагизм мира и жизни в нем.

4. И во единого Господа, Иисуса Христа...

Слово или титул Господь, по-гречески — *Κυριος*, означало в эпоху возникновения христианства — вождя, наделенного Божественной властью и силой, посланного Богом, во имя Божие, чтобы править миром. Титул этот присвоили себе римские императоры, чтобы подчеркнуть Божественный источник своей власти.

И именно этот титул не признавали за императором христиане, не боясь ни смерти, ни преследований, утверждая, что у мира один Господь, один носитель Божественной власти и что Господь этот — Иисус Христос. И за это, за этот отказ, Римская Империя на протяжении двухсот лет преследовала христиан. Но потому с этого слова и следует начать объяснение христианской веры во Христа.

«Верую во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного». Произнося эти слова, мы сразу оказываемся в самой сердцевине христианства, его «уникальности». Вера во единого Бога присуща всем большим религиям — исламу, иудаизму и тому расплывчатому «деизму», т. е. признанию высшего Божественного начала и источника жизни, которое распространено среди миллионов людей, не причисляющих себя ни к какой исторической или традиционной религии.

От всех этих религий христианство отличается тем, что, одновременно с чистейшим монотеизмом, т. е. верой во единого Бога, оно той же верой обращено ко Христу: к Человеку, по имени Иисус, жившему в Палестине около двух тысяч лет тому назад, жизнь которого: пришествие, учение, смерть — описаны и записаны в книге, называемой Евангелием — т. е. благой и радостной вестью, составленной четырьмя евангелистами: Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.

Христос. Произнося это слово, мы привычно соединяем два имени — Иисус Христос, и забываем, что если первое имя — Иисус — есть действительно человеческое имя, довольно частое в Палестине этой эпохи, то второе — Христос — титул, означающий Помазанник. Слово это переведено с древнееврейского Мессия. Через все книги Ветхого Завета проходит пророчество о том, что Бог пошлет в мир Мессию, Помазанника, т. е. Человека, которого Он, Бог, облечет божественной властью, наполнит Своим Духом и пош-

лет для того, чтобы возвестить людям свою волю, спасти их от греха и зла, соединить навек с Собою.

Как царей и пророков помазывали елеем, символом духовной силы, так и этот Божественный посланец будет Мессией. Ожидание Мессии особенного напряжения достигло как раз в эпоху, описанную в Евангелии. Первое утверждение Евангелия в том и состоит, что Человек Иисус, начавший проповедь Свою в Палестине, и есть Мессия, Помазанник Божий — Христос. Тот, Кого ждали, о ком молились и кого провозглашали все пророки, пришел. Человек Иисус — есть Христос. Таково начало христианской веры.

5. ...И во единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего едиnorodного, иже от Отца рожденного прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу, имже вся быша...

И, наконец, последнее, все собою увенчивающее, все обнимающее откровение: этот Господь, этот Христос, Которого послал Бог в мир, как Свою любовь и Свое спасение, — есть Сын Божий Единородный. Я нарочно говорю — откровение. Ибо все остальные слова: Господь, Христос, Помазанник — мы находим в истории спасения, они все еще могут быть ограничены человеческим, тварным.

Но явить во Христе Сына Своего Единородного может только Бог, только Отец. И в день, когда Иисус Христос приходит креститься у Иоанна Предтечи, в смиренном послушании Богу, Бог открывает эту тайну нам:

И было в те дни, пришел Иисус из Назарета
Галилейского

И крестился от Иоанна во Иордане,
И когда выходил из воды, увидел Иоанн

разверзающиеся небеса.

И Духа, как голубя, сходящего на Него.

И глас с небес: Ты сын мой возлюбленный,

В котором Мое благоволение.

Тут кончается спор. Ибо не с кем спорить. Здесь тайна, а о тайне не спорят, ее открывает нам Бог. Он не нуждается ни в «утверждении», ни в оправдании: Вся история мира, история спасения вела к этому Божественному Откровению, к этому дару любви и света, и всякий, кто от света, приемлет их. Христос есть Сын Божий, Христос есть Бог. И мы верим в это, потому что мы верим Отцу и верим Христу. Ибо «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Символ веры прибавляет: «в Сына Божия Единородного». Это значит, что Христос — Сын Божий не в том общем смысле, в каком все люди, поскольку сотворены они Богом, могут быть названы детьми Божьими, а в смысле единственном и исключительном слова единородный, т. е. единственный, один, — не сотворенный, а рожденный от Отца прежде всех век. Так учил Христос о Себе, и эту веру мы принимаем от Него. Мы верим Ему. И в этой вере Бог перестает быть отвлеченной идеей. Он раскрывается как Отец Сына своего единородного, потому что Он вечная Любовь к Сыну, вечная радость о Нем, вечная Ему самоотдача: «...Отец любит Сына, — говорит Христос, — и все отдал Ему...». Также и Сын: вечная любовь, послушание, вечная самоотдача любви.

Да, изнемогает наш ум, наш падший и ограниченный рассудок. Изнемогает перед глубиной, величием и — по-человечески — непостижимостью этой тайны. Но именно эту тайну возвещает нам Христос: совсем другое, новое для нас и неслыханное учение о Самом Боге. И вот на это Церковь не перестает утверждать, что

Христос — «Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного».

Тут, в этом неслыханном учении, проходит черта между теми, кто эту веру принимает и ею живет, и теми, кто не принимает, говоря, что, хотя Христос и принес людям замечательное, возвышенное моральное учение, Сам Он — человек, а не Бог. Я останавливаюсь на этом выборе, потому что он, вне всякого сомнения, определяет собою все наше понимание христианства. Можно сказать так: либо мы принимаем Евангелие целиком, принимаем все учение Христа, как дано оно нам в Евангелии. Либо, подобно Толстому, что-то принимаем в нем, а что-то отбрасываем. Принимаем то, с чем согласны, что «понимаем», но отвергаем то, чего не понимаем. Только нужно понять, что, если мы выбираем второй подход, мы самих себя делаем судьями Евангелия, и, что еще страшнее, считаем, что Христос ошибся и учил неправде. Но если Он в чем-то ошибался и учил неправде, то какова ценность других Его слов и всего Его учения? Если читать Евангелие непредвзято, то не может быть никаких сомнений в том, что Христос создавал себя Сыном Божиим, посланным в мир Отцом, чтобы спасти мир. И в этом весь смысл Евангелия, т. е. той благой вести, которую ученики Христа разнесли по всему миру, той тайны, которую Иисус Христос возвестил и явил миру.

Поэтому с приятия именно этой тайны и начинается христианская вера, и в вечном углублении в нее состоит христианская жизнь.

В чем же состоит тайна, которую отцы и учителя Церкви называли пресветлой и прерадостной? Ответ на этот вопрос укладывается в одно слово, и слово это — Любовь. Про Бога в Евангелии сказано, что Он есть Любовь. Не то что среди Божественных «качеств» есть и призыв к любви, а сам Бог есть Любовь. Но нет любви без любящего и любимого и их единства. И если эта любовь абсолютна, то и воплощается она в един-

стве абсолютном, так что любящий может сказать: мы — едины, мы — одно.

Поэтому можно сказать так: если Богом мы называем совершенное Бытие, если совершенство раскрыто нам как Любовь, если «Бог любовь есть», то тогда Бог не есть одиночество, этакое вечное Я — без вечного Ты. Нет, Бог есть абсолютное, всеблаженное единство Любящего, Любимого и любви, или, как Им самим раскрыто нам: Отца, Сына и Святого Духа.

«Отче! — говорит Христос в ночь предательства. — Да будут все едино — как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино — да уверует мир, что Ты послал Меня». Вот смысл слов Символа веры о Сыне Божиим единокровном.

6. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес...

Остановимся прежде всего на слове спасение. Остановимся потому, что здесь мы имеем дело с понятием, которое каждому верующему известно, к которому он так привык, что оно перестало звучать для него во всем своем смысле. Поэтому нужно подчеркнуть, что христианство — это религия спасения. А это значит — не просто «улучшения» жизни, помощи в житейских невзгодах, раскрытия отвлеченных норм и принципов поведения, а именно спасения. Спасение предполагает гибель. О спасении, а не об утешении и утешительных словах молит тонущий человек, или человек, дом которого охвачен пламенем, или человек, летящий в пропасть. Между тем, именно ощущение гибели — и потому переживания христианства как спасения — как бы выдохлось за долгие века христианства, и подавляющее большинство христиан, хотя по привычке и повторяют слова «Спаситель», «спасение» и мольбу «спаси нас»,

внутренне, подсознательно переживают их по-иному, не так, как переживали христиане вначале.

В самом христианстве произошла своеобразная подмена слов, или лучше сказать — не слов — ибо слова-то остались те же самые, — а смысла слов, их звучания. Произошла эта подмена потому, что мы перестали ощущать себя существами действительно гибнущими, существами, чья жизнь неумолимо стремится к бессмысленному распаду, которая поглощается злом, бессмысленностью, ужасом умирания и смерти, животной борьбой за существование, страшной похотью власти, войной всех против всех, ложью, отравляющей самые истоки жизни, серостью и приговоренностью всех к смерти, то есть всем тем, что пытается, и, увы, с успехом, заглушить, замазать наша так называемая «цивилизация». Всего этого мы научились как бы не замечать, а то уж очень страшно жить. Все это мы научились заговаривать суетой повседневной жизни. Нет, не случайно все громче гремит оглушающая шумная музыка, ускоряется ритм жизни, все увеличивается число новостей, которыми глушат нас день за днем. Это человечество, боящееся остановиться, боящееся задуматься, боящееся остаться наедине с собою и увидеть гибель, страх, ненависть и зло как саму жизнь, к которой мы приговорены. Между тем, именно таково ощущение, образ жизни в Евангелии. Христос приходит к людям, «сидящим во тьме» и «сени смертной». Вот первое определение в Евангелии судьбы человеческой. Радость рождественской ночи сразу же омрачена. Ирод хочет убить Младенца и для этого убивает множество младенцев, и вот, пишет евангелист Матфей: «глас в Раме слышен, плач и рыдание, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет...».

Только о любви, только о прощении проповедует Христос. Но откуда же эта ненависть, сгущающаяся вокруг Него и приводящая Его, безысходно, неумолимо, на крест? В центре Евангелия этот ужас предательства,

измены, страшной злобы, пота, падающего на землю, как кровь. Человека, который в предсмертной муке «начал ужасаться и тосковать», вопя со креста: «Боже мой! Боже мой! Почему Ты меня оставил?» — предает от страха перед толпой Пилат, издеваются, бьют, плюют римские солдаты, издеваются фарисеи, вопит народ — распни, распни Его! — вот в Евангелии образ мира и жизни. Достаточно на минуту задуматься, чтобы увидеть, что все это всегда было, всегда есть, что в мире царит и жизнью управляет гибель. И если не вернуться именно к этому ощущению, если не начать с него, то нет смысла в христианстве, и ему, в сущности, нечего сказать людям. Ибо только раскрывая глубину и ужас гибели, христианство раскрывает себя, — или, вернее, Христа, Его учение и Его призыв — как спасение. Спасение не от того или другого, а спасение самой жизни, так безнадежно оторвавшейся от собственного своего содержания, от Бога, от света, от неба, от Истины, от вечности, и в отрыве этом ставшей страшным и зловонным кишением людей, одинаково приговоренных к бессмысленной гибели. Все это и исповедуем мы, когда произносим в Символе веры простые и вечные слова: «Нас ради человек и нашего ради спасения». Ради нас, для меня, для тебя, для каждого в отдельности и для всех вместе; для нашего спасения. Каждый раз, повторяя это утверждение, мы утверждаем также и наше знание гибели.

Многие хотели бы удалить из христианства эту связь: спасение от гибели, спасение, потому что гибель. Многие хотели бы как бы «обезвредить» христианство, сделать его придатком к жизни, бытом, древностью, добрым обычаем. Но как нельзя убрать из Евангелия крест и распятие, так не убрать из христианства этого соотношения гибели и спасения. Можно сказать: всякая подлинная встреча со Христом раскрывает мне, прежде всего, тьму, гибельность и бессмысленность моей жизни. Я вижу Христа, и потому, что я вижу Его, я

понимаю, что та жизнь, которой я живу, не та, не настоящая жизнь, а жизнь, пронизанная гибелью, осужденная на гибель. И вера моя в Него, во Христа с того начинается, что каким-то таинственным и необъяснимым и, тем не менее, самоочевидным для меня образом я узнаю, что только Он, Христос, может спасти меня, что только Он, только у Него, только в Нем спасение и мое, и ближних, и всех, и всего. «Нас ради человек и нашего ради спасения». Так все Евангелие, вся вера отнесены этими словами Символа веры ко мне и к моей жизни. И только ощутив это всем существом, я оказываюсь способным задуматься над тем, в чем состоит спасение.

7. И воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечившегося...

От Духа Святого и Марии Девы. Я думаю, для неверующих, для людей, внешних христианству, нет большего камня преткновения и соблазна, чем вера христиан в то, что Иисус Христос родился от Девы. От веры в это, увы, отказались даже многие христиане, особенно те протестантские ученые, которые изучают Евангелие и веру «научно» и которым вера в Матерь-Деву кажется неприемлемой, кажется насилием над умом, суеверием. Не сомневаются, смиренно принимают это евангельское учение люди простые и те, кто сам смиренен. И не только принимают, но принимают как радостный дар, как светлую и радостную тайну, которую Богу угодно было нам раскрыть. А так как доказать «действительность» этого безмужнего зачатия и рожденья невозможно, и мы либо верим, либо не верим в него, либо смиренно принимаем, либо, так сказать, «принципиально», во имя науки и от имени разума отвергаем его, то и говоря о

нем, мы можем попытаться всего лишь поведать, что дает эта вера нашему сознанию, нашему сердцу, что открывает она нам на глубине.

Конечно, вера в рождение Христа от Девы, провозглашенная в Евангелии, снова и остро ставит вопрос об уме, о разуме и о границах того научного подхода ко всем явлениям, который разум наш только и знает и в котором он действительно верховный судья. Вопрос этот так важен потому, что девство Божьей Матери, как называет Церковь Марию, Мать Иисуса, отвергается именно разумом. Разум говорит: этого не бывает, и потому этого быть не может, и потому этого не было. И потому это нужно вычеркнуть из Евангелия. Так что все сводится в конце концов к выбору: что выше — Евангелие или разум, кто кого судит, кто кем проверяется — Евангелие ли разумом или разум Евангелием? Замечу сразу же, что дилемма эта относится совсем не к одному только утверждению веры — к рождению Христа от Девы. Она относится, как мы отлично знаем, прежде всего, к самому Богу. Тот же разум, та же наука не знает ни Бога-Творца, ни Бога-Любви, ни Бога-Спасителя. Ибо наука знает только то, что она может проверить и проверкой этой, как говорит философия, эмпирически доказать. Проблема, следовательно, расширяется. Речь идет о том, существует ли сфера знаний, явлений жизни, которая не то что не подведомственна уму, нет — христианство ставит ум очень высоко, — но в которой ум, во всяком случае, наш земной, человеческий ум, не имеет окончательной власти, не может и потому не должен выносить никакого окончательного суждения. Или еще так: есть ли у ума границы, вне пределов которых он, если он только подлинный, так сказать, «умный ум», говорит: я не знаю. Я говорю «умный ум», потому что есть, вне всякого сомнения, глупый ум, и он-то обычно и кричит громче всех и считает себя всезнайкой. Настоящий ум, настоящий ученый об очень многом говорит: «я еще этого не знаю»,

и это незнание неизмеримо более достойно подлинной науки, чем кичливое всезнайство.

Так вот, христианская вера, христианство по отношению к уму занимает такую позицию: оно, во-первых, признает ум высшим даром Бога человеку, подлинно Божественным даром; оно, во-вторых, утверждает, что, как и все в мире, как и весь человек, ум помрачен и ограничен грехом и потому уже не все может познать и объяснить. И, наконец, в-третьих, оно считает, что ум может и должен быть просветлен, просвещен, углублен и возрожден верой. А для этого ум должен смириться, а это значит — допустить, что в мире действует не только он и не слепая и бездумная причинность, которую одну ум и постигает, а действует в мире Бог, о котором сказано, что Его пути не наши пути, Его мудрость не наша мудрость, и что Бог разрушает гордыню ума, утверждающего свое всезнайство. Но тогда как раз и отпадают все те возражения, о которых мы говорили в начале: этого не бывает, и потому это невозможно, это не соответствует известным нам законам природы, и потому этого не было, и так далее. Ибо как раз самые глубокие законы мира и неизвестны, неизвестна та его мистическая глубина, на которой ум встречается с действием в нем Бога-Творца, Бога-Любви, Бога-Промыслителя. Ведь вера и Церковь не утверждают совсем, что это «бывает» и что это «возможно», то есть дети могут рождаться без отца, от девы. Вера и Церковь только утверждают, что это неслыханное, небывалое и для нашего падшего ума невозможное событие совершилось тогда, только тогда, когда на землю, в образ человеческом, пришел Сам Бог! Поэтому вера в девство Марии, Матери Иисусовой, зависит совсем не от того, «возможно» это или «невозможно», бывает или не бывает. Сама Церковь в одной из своих молитв утверждает: «чуждо матерям девство и чуждо девству материнство». Вера эта зависит только от того, верим ли мы,

что Христос — Бог, пришедший на землю, к нам, «нашего ради спасения, нас ради человек».

Если верим, то понятной (нет, не голому разуму, а глубине нашего сознания) становится и тайна безмужного рожденья. Ибо в этой тайне как раз и содержится вера Церкви во Христа, знание Его как Бога и Человека, как Бога, ставшего человеком, как Человека, исполненного Богом, обоженного. Нам не дано свести Бога на землю и Его вочеловечить. Это Божье решение, Божья инициатива, причина Его вочеловечения не в земном, не в одном из земных законов, но только в Боге. Христос — Сын Божий. Но человечество свое, плоть и кровь свою Христос принимает от нас, людей, и принимает от Девы Марии, которой Духом Божиим, творческой силой Его и любовью дано стать Матерью и этим материнством навеки, навсегда и до конца породнить нас со Христом, Сыном Божиим, явить Его как одного из нас, как Сына Человеческого. Свободное решение Бога, творящего нового человека, свободное приятие человеком этого дара: вот смысл этой нашей веры, вот радость ее. Бог нисходит с неба, чтобы человек поднялся на небо. Через Иисуса Христа — мы дети Божии, через Марию — Христос с нами, в нас, наш брат, наш сын, наш Спаситель. Все это и выражено в кратком исповедании Символа веры: «и воплотившегося от Святого Духа и Марии Девы и вочеловечившегося...».

8. Распятого за нас при Понтийском Пилате...

Каков смысл этого упоминания в кратком перечислении всего того, во что верит Церковь,— Пилата? Почему одно это имя упоминается в связи с распятием, смертью и воскресением Христа, одно имя среди бесчисленных имен людей, участвовавших в осуждении и мучении невинного Учителя? На вопрос этот нужно

дать два ответа одинаково для нашей веры важных, существенных, центральных.

Первый ответ таков: имя Пилата упоминается потому, что, называя его, Церковь утверждает историчность тех событий, в которых исповедует она спасение мира и человека.

Есть и вторая причина для упоминания имени римского правителя в Символе веры, и она ясно указана в собственных словах Пилата, обращенных им, согласно Евангелию от Иоанна, к стоявшему перед ним Христу. Христос молчит. И Пилат спрашивает: «Почему Ты не отвечаешь мне? Разве ты не знаешь, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?» Это значит, что земная судьба человека, стоявшего перед Пилатом, смерть и жизнь человека зависели от него, Пилата. И Пилат, как известно, знал, что нет никакой вины за этим человеком. «С этого времени, — пишет евангелист Иоанн, — Пилат искал отпустить Его», то есть Пилат искал случая, чтобы отпустить Христа, — и не отпустил. Не отпустил, так как боялся толпы, так как ему легче было угодить ей, предав на смерть невинного человека, чем, отпустив его, — рисковать волнениями, бунтом, доносами в Рим и тому подобным. Пилат был свободен. Его власть, говорит Христос, дана была ему свыше, и это значит — для правды, справедливости, милосердия, защиты слабых. Пилат свободно выбрал зло. Был один момент, один, только один, — когда все зависело от него, и он это знал, и поступил сознательно против совести, против правды... Нет, тут не было рока, Пилат не был бессмысленным исполнителем чужой воли, игрушкой в чьих-то руках. Пилат был свободен. И именно эта свобода Пилата делает поступок его столь безысходно, столь страшно и абсолютно трагическим. Потому упоминание имени Пилата в Символе веры — это (всегда, каждый день, на протяжении тысяч лет) напоминание нам, каждому из нас, о том, что мы свободны. Эта минута, когда Пилат мог отпустить

Христа или освободить его, — эта минута длится вечно, длится в жизни каждого из нас. Нет дня, когда не стояли бы мы перед выбором и не имели бы данной каждому из нас свыше власти по никогда не обманывающему голосу совести знать правду — и либо выбирать, либо отвергать ее. И эта свобода, эта возможность выбора делает саму нашу веру судом над нами.

В каждом человеке мы можем узнать образ Христа, и либо сделать добро, либо же предать Его — из страха, из слабости и малодушия, как тогда, в ту пятницу перед Пасхой, в час шестой сделал это Пилат. Только по отношению к этой свободе, которой никто не в силах отнять у нас, и решается наше спасение или же наша собственная духовная гибель. Христос нас спас, но сделать это Им дарованное спасение нашим спасением — мы можем только сами, только глядя на стоящего перед Пилатом, всеми брошенного, всеми преданного, всеми оставленного человека. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се человек!» — не зная, что в словах этих единственный суд над нами, ибо каждый из нас свободен принять или отвергнуть и предать Его. Так, упоминая имя одного человека, Символ веры на веки веков раскрывает нам всю необъятную глубину человеческой свободы. Сам Бог стоит пред нами — не в величии и славе, — ибо тогда мы подчинились бы ему и стали Его трусливыми рабами, нет — в терновом венце и багрянице. И только по отношению к нему мы свободны, как был свободен Пилат, и в этой свободе решаем каждый свою вечную судьбу.

9. Распятого...

В человеке Иисусе Бог снизошел к нам, соединил нас с собою, явил нам свою безмерную любовь, открыл нам доступ в вечное царство любви и света. И вот мир не принял и отверг Его, как говорит евангелист Иоанн

Богослов: «Он пришел к своим, и свои Его не приняли...». Сошел с небес, и вот — распят. Воплотился, и вот — обречен на страдания. Вочеловечился — и вот убит и погребен. В этом противопоставлении, в этом столкновении любви с ненавистью, в столкновении встречи и отвержения, дара и неприятия раскрывает нам Символ веры христианское понимание, или — лучше сказать — христианское знание, христианский опыт зла, а также знание и опыт победы Христовой над злом, разрушения Им зла...

Первый вопрос: почему был Христос отвергнут? Откуда эта постепенно нарастающая ненависть к Нему, последнее выражение которой вечно звучит в страшном вопле толпы: «Распни, распни Его!»? Ведь с момента явления народу все служение Христа, вся Его проповедь — это одно сплошное воплощение любви, добра, сострадания и милосердия. Христос говорит о себе словами древнего пророка: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу...». Христос идет через города и села, и толпы людей следуют за Ним, несут к Нему больных и страждущих, слушают Его и, казалось бы, окружают Его любовью и поклонением. Куда же девалась эта толпа, когда стоит Христос перед первосвященником, а затем перед Пилатом, когда бьют Его и издеваются над Ним римские воины, когда пробивают Ему ладони и ступни, пригвождая Его ко кресту? Или это — та же толпа, те же люди? Но тогда — что же претворило любовь в ненависть, поклонение — в отвержение? Вот Пилат говорит: «Я не нахожу в Нем никакой вины»; вот разбойник, распятый рядом с Христом, говорит: «Человек этот ни единого зла не сотворил...». Но все бессильно против страшного напора ненависти, желания, чтобы не было больше этого человека, чтобы Он был убит...

Смысл евангельского рассказа, если только вслушаться, вдуматься, вжиться в него, прост: Христа отвергают, Христа ненавидят, Христа распинают не за что-то одно, не за те выдуманные преступления, в которых лживо и клеветнически обвиняют Его перед Пилатом и которые, зная, что это ложь и клевета, отвергает и Пилат, тем не менее предавая Христа на позорную и страшную смерть. Нет, тут нет недоразумения, тут нет никакой случайности. Христа распинают только потому, что явленное в Нем добро и любовь, льющийся от Него ослепительный свет оказываются людям невыносимы. Невыносимы потому, что Его свет обличает зло, которым живут люди и которое они сами от себя скрывают. Ибо в том ужас падшего мира, что в нем зло не только царствует, но еще и выдает себя за добро, всегда скрывается за личиной добра. В мире царит круговая порука зла, выдающего себя за добро! Именем добра, свободы, заботы о человеке — и не тогда только, а всегда, и теперь, в наши дни — порабащают и убивают людей, обманывают, лгут, клеветают, разрушают; каждое зло только и кричит: я — добро! И не только кричит, но еще и требует, чтобы люди неустанно вопили в ответ. «Ты — добро, ты — свобода, ты — счастье!»

Зло не имело бы никакой победы, никакой власти в мире, если бы оно открыто являло себя как зло. Зло побеждает обманом, выдавая себя за добро. И этот обман дает возможность человеку оправдывать ненависть, убийство, рабство, ложь, уродство. Вот этот обман и обличает и раскрывает Христос. Раскрывает и обличает не только словами своими, а прежде всего Собою, своим явлением, своим присутствием. Христос оказывается свидетелем, а каждый преступник знает, что прежде всего нужно уничтожить свидетеля преступления, оградить круговую поруку зла. «И стали с того дня — со дня предательства и убийства — Ирод и Пи-

лат друзьями». В этом коротком замечании евангелиста заключена вся страшная правда о зле.

Да, за Христом следовали толпы, пока Он помогал, исцелял, творил чудеса. И эти же самые толпы бросили Христа и кричали «распи Его!» Люди почувствовали страшным инстинктом зла, что в этом совершенном человеке, в этой совершенной любви — их обличение, что самой своей любовью, самым своим совершенством — Христос требует от них жизни, которой они не хотят, любви, правды, совершенства, которые для них невыносимы, этого свидетеля нужно убрать, уничтожить.

Только вот — и в этом весь смысл, вся глубина креста и распятия — в этом видимом торжестве зла на самом деле торжествует добро. Ибо торжество добра начинается как раз с раскрытия зла как зла. Первосвященники знают, что они клеветуют. Пилат знает, что он предает на смерть ни в чем не повинного человека. И час за часом, шаг за шагом в этом страшном торжестве начинает разгораться свет победы. Победа звучит в раскаянии распятого разбойника, в словах сотника, руководившего казнью: «Воистину человек этот — Сын Божий!» Умирающий на кресте человек — завершает свое свидетельство. И им изнутри — нет, еще не извне, — разрушено зло, ибо явлено и вечно является оно как зло. Повторяю, крест — это начало той победы, завершение которой — в смерти и воскресении Распятого.

10. Страдавшего...

«И страдавшего...» — говорит Символ веры. Зачем это повторение, ведь слово «распятие» включает в себя понятие страдания? В ответ на это нужно сказать так: говоря «распятого», мы говорим, прежде всего, о тех, кто распинал Христа, мы говорим о зле, о том видимом торжестве и победе зла, которые выражают крест

и распятие и которыми, так как они выражают зло как зло, снимаются со зла все покровы — и начинается разрушение зла. Говоря же «и страдавшего», мы говорим о Христе, мы не на распинателях, на Распинаемом сосредотачиваем свой внутренний, духовный взор. Если бы, как учили некоторые осужденные Церковью лжеучители, Христос не страдал на кресте, не испытывал ужасающих физических и душевных страданий, то всё, решительно все изменилось бы в самой нашей вере во Христа, в вере в Него как в Спасителя мира и человека. Так как это означало бы, что мы убрали из этой веры самое главное, а именно — веру в спасительность как раз вольного страдания, самоотдачи Христа самому страшному, самому необъяснимому и безысходному закону «мира сего» — закону страдания.

Не требует никаких доказательств, что мир наполнен страданием. Страданием физическим и страданием душевным, болью и мученьем во всех смыслах этих слов. Страданьем, которое часто оказывается сильнее страха смерти, так как для того, чтобы освободиться от него, чтобы больше не страдать, не мучиться, человек убивает самого себя, отказывается от жизни. Но вот, столь же очевидно и то, что, несмотря на этот всеобъемлющий и всемирный закон страдания, человек не принимает его. Все религии, все философии, все идеологии, короче говоря — все «рецепты», предлагаемые на протяжении тысячелетий человеку, все без исключения обещают освобождение от страдания, прекращение страдания. Тут, в этом обещании, исчезает разница между «индивидуализмом» и «коллективизмом», между религией и атеизмом, между консерватизмом и радикализмом и т. д. И тот факт, что люди принимают это обещание, верят в него, и в известном смысле только им и живут, доказывает, что в человеке неистребимо подсознательное или сознательное ощущение страдания как чего-то недолжного. Если называть нормальным то, что бывает, происходит, случается всегда и всю-

ду, то нет ничего «нормальнее» страдания. Но именно это «нормальное» человек извечно ощущает как ненормальное.

И вот, нужно сказать со всей силой, что одно христианство, только оно не обещает человеку освобождения от страдания. «В мире печальны будете», — говорит Христос, хотя сам Он, на протяжении всего своего служения, только и делает, что помогает страдающим. Но, делая это и нам заповедав делать это, Христос ни разу, нигде не говорит, что Он пришел освободить мир от страдания, прекратить и уничтожить его. Христос вольно, свободно, зная, что ожидает Его, «восходит во Иерусалим», идет на страданье и свободно принимает его, и нас обрекает на него, если мы только в самую ничтожную меру следуем Ему и поступаем по Его заповедям. Почему? В чем смысл этого кажущегося противоречия? Вот в чем: если Христос в земной своей жизни все время страдает, и жалеет, и исцеляет, и помогает, то это потому, очевидно, что Он, как и все люди, не принимает страдания как чего-то нормального и при встрече с ним, как и всякий человек, «возмущается духом». Нет, не для страдания и мученья, а для радости и жизни преизбыточествующей создал Бог человека, и для Христа всякое страданье — это победа зла и злого в мире, созданном Богом. Однако в том и ужас зла, что оно сделало страданье нормальным и, вместе со смертью, единственным абсолютным законом мира и жизни. И потому ни один «рецепт» против страдания, в том числе даже чудо исцеления и оживления мертвых, не освобождает мир и жизнь от страдания, может быть даже наоборот — подчеркивает всеислие страдания, его безысходность. Подчеркивает всю ужасающую «нормальность» ненормального... Исцеленный снова заболит и умрет. Утешенный и осчастливленный снова познает печаль и боль жизни, окружающее его торжество зла, распада и муки. «В мире печальны будете...». И только поняв это, можно понять, да и то только духовным слу-

жом, ответ Христа, ответ христианства — страданию. Ответ этот: не уничтожение страдания, что невозможно в падшем мире, а претворенье самого страдания в победу.

Вот это претворенье и совершает Христос, сам вольно принимая страдание, вольно отдавая себя ему. Мы не могли бы даже услышать этих слов: претворение страдания в победу,— или они остались бы навсегда самой бессмысленной из всех риторик, из всех самоутешений, — если бы не хранило наше сердце, наша духовная память образ страдающего Христа. Что говорит нам эта память? Христос, Сын Божий, сиянье и свет Бога на земле, вошел в наше страдание, принял его до конца, сделал его своим страданием во всей полной и страшной мере его: с нами вместе, как один из нас, но только в сверхчеловеческой полноте, «Он начал ужасаться и тосковать». Таким образом открыв своим страданием и для нас возможность наше страдание претворять в сострадание Ему — и это значит в духовный подвиг, в духовную борьбу, в духовную победу. Страдание — венец и торжество бессмыслицы и абсурда — Христос наполнил своей верой, своей любовью, своей надеждой, и это значит — смыслом. Страдание — из разрушения жизни — Христос сделал возможностью рождения в подлинную, духовную жизнь. Возможно, говорю я, так как нет ничего магического в страданиях Христа. И нет более трудного, по-человечески рассуждая, более непосильного и невозможного подвига, чем претворение этой возможности в реальность.

По-человечески — мы все еще хотим от Бога, от Христа прекращения, а не претворения страдания, хотим того, чего хотели от Него люди, видевшие во Христе только целителя, только Того, кто может уничтожить страдание. Но Христос не уничтожил страдания ни для себя, ни для нас. Христос счел нас достойными неизмеримо большего: включения в Его страдания, приятия страдания как разрушения его разрушительной

силы, как вхождения в веру, надежду и любовь, как победы духа, как вхождения в Царство Божие. «Сила Божия в немощи совершается». И если только мы внимательно посмотрим кругом себя, то убедимся, что если есть в мире подлинные победы духа, победы веры, надежды, любви, победы в людях — Христа, то все они без исключения — это победы этого Христова страдания, нашего страдания со Христом. Все это, сказанное на слабом и нищем человеческом языке, извечно сияет и горит в одном слове Символа веры: «и страдавшего».

11. Погребенного...

Вслед за исповеданием Христа распятого и страдавшего Символ веры утверждает и «погребенного». И снова мы невольно спрашиваем себя: почему именно это слово, а не слово «умершего». Погребение, очевидно, включает в себя, предполагает смерть, и все-таки не случайно не смерть, а именно погребение упоминает Церковь в перечислении тех событий жизни и служения Христа, в которых и через которые, верит она, совершилось и вечно совершается спасение мира и человека. И потому, отвечая на вопрос о смысле слова «погребенного», касаемся мы чего-то самого важного, самого сердцевинного для христианской веры.

Можно сказать так: смерть, умирание еще относятся к нашей земной, видимой жизни, суть конец ее и завершение. Смерть, в ее биологической сущности, есть факт самоочевидный, непререкаемый как для тех, кто верит в то, что называют люди «загробной жизнью», так и для тех, кто не верит в нее. Но погребение умершего относится уже не к самому моменту смерти, а к тому, что следует за ней, к тому, как относятся к ней, как думают и верят о ней те, кто совершает погребение. Для одних это обряд вечного расставания, признание окончательности смерти как абсолютного конца, как возвра-

щения человека в то небытие, из которого он почему-то возник и в которое безысходно возвращается. Это разставание можно обставить с большей или меньшей торжественностью, украсить речами и цветами, но это ничего не меняет в пронизывающем погребальное торжество чувстве безнадежности, бессмыслицы, абсурда: был человек и нет человека. Конец. Для других погребение выражает веру в продолжение жизни за гробом: в древних языческих культах в гробницу умершего клали пищу, оружие, иногда даже убивали жену, чтобы она могла быть и в загробной жизни со своим мужем. Такое погребение мы давно развенчали как детскую наивность, суеверие. Так или иначе, погребение всегда есть утверждение определенного понимания смерти. И потому Церковь в своем Символе веры говорит не о смерти, а именно о погребении Христа. Больше того, каждый год, в день, предшествующий Пасхе, день, который называет она Великой и Благословенной субботой, Церковь как бы повторяет это погребение, опять и опять раскрывая, являя то, что совершилось, прежде всего, с самой смертью, когда принял ее, снизошел и погрузился в нее Иисус Христос, Сын Божий. Когда после потемок Великой пятницы, дня распятия и смерти, дня проявления всей силы зла, обрушившегося на Христа, вступаем мы в субботу — посередине храма возвышается так называемая плащаница, то есть гробница с изображением на ней мертвого Христа. Но всякий, кто хоть раз в жизни пережил вместе с другими верующими этот единственный по своей глубине, по своему свету, по своей белой тишине день, знает — и знает не разумом, а всем существом своим, — что гробница эта, которая, как и всякий гроб, всегда есть свидетельство о торжестве и непобедимости смерти, начинает озаряться каким-то видимым, почти осязательным светом, что гроб претворяется, как поет Церковь, в «живоносный гроб». Да, видимо смерть торжествует в этой неподвижности мертвого тела, этого бездыханного че-

ловека. Все совершилось, все кончено. Но смысл, глубина, ни с чем в мире не сравнимая красота этой службы в том, что, совершаемая у гроба и вокруг смерти, она есть созерцание, явление необычайности, новизны этой единственной смерти этого единственного человека. «О Жизнь! Как ты умираешь? Как можешь ты вселиться в гроб?» Вот вопрос, который задаем мы Христу, лежащему во гробе. И постепенно приходит ответ. На рыданье, на недоуменье, на отчаяние своей матери, всего мира, всего творения Христос отвечает, и этот ответ звучит в потрясающих песнопениях этого дня: «разве ты, разве вы не понимаете, — как бы говорит Христос.— Я имел двух друзей на земле: Адама и Еву. И я пришел к ним и не нашел их на земле, которую Я дал им. И, любя их, я спустился туда, где они, — в тьму и ужас и безнадежность смерти». Да, все это выражено, все это сказано, все это поется на языке детей, в образах, символах, как бы сказке. Но как иначе явить, показать потрясающую новизну совершающегося? Тот, кого Евангелие называет жизнью, ибо «в Нем была жизнь, и жизнь была свет человекам», — Тот, кто есть сама жизнь, — в любви и сострадании опускается в смерть, которой Он не сотворил, но которая завладела миром, отравила жизнь. Смерть поглощает жизнь, но вот — в смерти Христа сама оказывается поглощенной Жизнью. Во тьме и сени смертной, в одиночестве и ужасе смерти загорается свет. Церковь поет: «Спит Жизнь и Смерть трепещет...»

Ранним утром, еще в полной темноте, обносим мы плащаницу вокруг храма. И вот уже не надгробное рыданье раздается, а победная песнь: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный!» Христос шествует в царстве смерти, объявляя пленникам смерти, что царство это пришло к концу. Отныне всякая смерть, сколь ни остается она ужасной, печальной и страшной изнутри, побеждена тем, что ее воспринял, пережил и в себе изжил Христос. «Поглощена смерть победой», — воскли-

цает апостол Павел, и у гроба каждого умершего мы поем о «надгробном рыдании, претворяемом в победную песнь Аллиллуйя!»

«И погребенного...» Это значит — принявшего смерть как свою судьбу и наполнившего ее любовью, и это значит — жизнью, верой, и это значит — жизнью, надеждой, и это значит — жизнью. «Где твое, смерть, жало? Где твоя, о ад, победа?»

Всем нам предстоит войти в смерть, умереть. Но словом Символа веры Церковь утверждает, что в смерти мы встречаем Христа, что Он смерть превратил во встречу с собою, в преддверие воскресения.

12. И воскресшего в третий день по Писаниям...

После креста, после сошествия в смерть, воскресение из мертвых — это основное, главное, решающее утверждение Символа веры, утверждение им самой сердцевины христианства. Действительно, «если Христос не воскрес, вера ваша тщетна». Это слова апостола Павла, и они остаются для христианства основоположными по сей день. Христианство — это превыше всего вера в то, что Христос не остался во гробе, что из смерти воссияла жизнь и что в воскресении Христа из мертвых абсолютный, всеобъемлющий, не терпящий исключений закон умирания и смерти был изнутри взорван и преодолен...

Воскресение Христа составляет, повторяю, самое сердце христианской веры, христианского благовестия. И однако, как ни странно, в реальной жизни христианства и христиан в наши дни вера эта занимает мало места... Она как-то затуманена, и ее современный христианин, сам того не ведая, не то что не принимает, а как-то обходит, ею не живет, как жили ею первые христиане. Да, если он ходит в церковь, он, конечно, слышит раздающиеся в христианском богослужении ликующие утверждения: «смертию смерть поправ», «поглоще-

на смерть победой», «жизнь царствует» и «мертвый ни один во гробе». Но спросите его, что он действительно думает о смерти, и часто, увы, слишком часто, вы услышите некое расплывчатое, еще и до христианства существовавшее утверждение бессмертия души и ее жизни в некоем загробном мире. Это еще в лучшем случае... В худшем же — просто растерянность, незнание: «я, знаете ли, как-то никогда по-настоящему в это не вдумывался». Между тем, вдуматься в «это» абсолютно необходимо, ибо повторяю, на вере или неверии — не просто в «бессмертие души», а именно в воскресение — в воскресение Христово и в конце времен наше «общее воскресение», — на вере этой держится все христианство. Если Христос не воскрес, то тогда Евангелие есть обман, самый страшный из всех обманов. Если Христос воскрес, то тогда радикально меняются, да попросту отпадают все наши дохристианские представления и верования в «бессмертие души», тогда весь вопрос о смерти предстает в совершенно ином, радикально ином свете. Ибо воскресенье, прежде всего, предполагает отношение к смерти, понимание смерти — глубочайшим образом отличное от обычных религиозных представлений о ней, а в каком-то смысле и попросту обратное этим представлениям.

Надо прямо сказать, что классическое верование в бессмертие души исключает веру в воскресение, ибо воскресение — и тут корень всего — включает в себя не только душу, но и тело. Простое чтение Евангелия не оставляет в этом никакого сомнения. Увидев воскресшего Христа, апостолы, по рассказу Евангелия, думали, что видят призрак, привидение. И первым делом воскресшего Христа было явить им, дать ощутить реальность своего тела. Он берет пищу и ест перед ними. Сомневавшемуся Фоме он приказывает прикоснуться к своему телу, пальцами удостовериться в воскресении. И когда апостолы уверовали, именно провозглашение воскресения, его реальности, его «телесности» и

становится главным содержанием, силой и радостью их проповеди. Главным таинством Церкви становится причастие хлебу и вину как телу и крови воскресшего Господа — и в этом акте, как говорит апостол Павел, «смерть Господню возвещая, воскресение Его исповедуют».

Обращающиеся в христианство обращаются не к идеям и принципам, а принимают эту веру в воскресение, этот опыт, это знание воскресшего Учителя. Больше того, они принимают с этой верой веру во всеобщее воскресение, и это значит — в преодоление, разрушение, уничтожение смерти как последнюю цель мира. «Последний же враг истребится — смерть!» — в некоем духовном восторге восклицает апостол Павел. И каждую пасхальную ночь мы восклицаем: «Где твое, смерти, жало, где твоя, аде, победа?.. Воскрес Христос и мертвый ни один во гробе, воскрес Христос и жизнь царствует!» Таким образом, принятие или непринятие Христа и христианства есть, по существу, принятие или непринятие веры в Его воскресение, и это значит, говоря языком религиозных представлений, в воссоединение в Нем души и тела, разделение которых, распад которых и есть смерть. Мы можем не говорить об отвергающих воскресение Христа по той простой причине, что они отвергают самое существование Бога, то есть мы можем не говорить об убежденных, или думающих, что они убежденные атеисты, безбожниках. Тут очевидно спор идет в другой плоскости. Гораздо важнее то странное «затуманивание» веры в воскресение, о котором я только что говорил, затуманивание его среди самих верующих, самих христиан, странным образом сочетающих радостное празднование Пасхи с фактическим, зачастую даже подсознательным отвержением воскресения Христова. В историческом христианстве произошел как бы возврат к дохристианскому пониманию смерти, которое состоит, в первую очередь, в признании ее «законом природы», то есть присутствием самой природе яв-

лением, с которым по этой причине, и сколь бы ни была смерть страшной, нужно «примириться», которое нужно принять. Действительно, все нехристианские, все естественные религии, все философии в сущности только тем и заняты, что примиряют нас со смертью, стараются показать нам начало бессмертной жизни, бессмертной души в каком-то ином, загробном мире. И, конечно, если, как учит, например, Платон, а за ним и бесчисленные его последователи, смерть есть желанное освобождение души от тела, то вера в воскресение тела становится не только ненужной и непонятной, но просто ложной, неверной.

Итак, для того, чтобы ощутить смысл христианской веры в воскресение, нам нужно начать не с него, а с тела и смерти, с христианского их понимания. Именно тут корень недоразумения даже внутри христианства.

13. Бессмертие

Религиозное сознание воспринимает воскресение Христа прежде всего как чудо, каковым, конечно, оно и является. Но для бытового религиозного сознания чудо это остается «единичным», относящимся ко Христу. А поскольку Христа мы признаем Богом, то чудо это в некотором смысле перестает даже быть чудом: Бог всемогущ, Богу все возможно. И, конечно, что бы ни означала смерть Христова, Его божественная сила и власть не дали Ему остаться во гробе. Но дело в том, что все это составляет только половину изначального христианского восприятия воскресения Христова. Радость раннего христианства, радость, живущая и донныне в Церкви, в ее богослужении, в ее песнопениях и молитвах, особенно же в ни с чем не сравнимом празднике Пасхи,— не отделяет воскресения Христова от «общего воскресения», от воскресения всех людей, воскресения, начавшегося в воскресении Христовом.

Празднуя, за неделю до Пасхи, воскрешение Христом умершего друга Его Лазаря, Церковь торжественно, радостно утверждает, что это чудо есть «общего воскресения удостоверение». Но вот в сознании верующих вера в воскресение Христа и вера в начатое им «общее воскресение» как бы разъединились. Осталась нетронутой вера в восстание Христа из мертвых, воскресение Его в теле, к которому призывает Он прикоснуться сомневающегося Фому: «Вложи пальцы твои в раны Мои и не будь неверующим, но верующим...». В том же, что касается нашей последней участи и судьбы после смерти, то они понемногу перестали восприниматься в свете воскресения Христова и по отношению к нему. Про Христа мы утверждаем, что Он воскрес, про самих же себя говорим, что верим в бессмертие души, в которое задолго до Христа верили греки и евреи и до сих пор верят все без исключения религии, и для веры в которое воскресение Христа, как это ни странно звучит, — даже не нужно.

В чем причина этого странного раздвоения? Причина эта в нашем понимании смерти или, лучше сказать, в понимании смерти как отделения души от тела. Вся дохристианская и внехристианская «религиозность» призывает отделение души от тела считать не только «естественным», но и положительным, видеть в нем освобождение души от тела, мешающего ей быть духовной, небесной, чистой и блаженной. Поскольку в опыте человеческого зло, болезни, страдания, страсти — от тела, то смыслом и целью религии, религиозной жизни естественно становится освобождение души от этой «темницы» тела, освобождение, достигающее полноты своей именно в смерти... Но нужно со всей силой подчеркнуть, что такое понимание смерти — нехристианское, больше того — с христианством несовместимое, ему открыто противоречащее. Христианство провозглашает, утверждает и учит, что отделение души от тела, называемое смертью, есть зло. Это то, чего Бог

не сотворил. Это то, что вошло в мир и покорило его себе, но против Бога, в нарушение Его замысла, Его воли о мире, о человеке и о жизни. Это то, что Христос пришел разрушить. Но чтобы не то что понять, а ощутить, почувствовать христианское восприятие смерти, нужно сначала хотя бы несколько слов сказать об этом Божьем замысле, поскольку он открыт нам в Священном Писании и в полноте своей явлен во Христе: в Его учении, в Его смерти, в Его воскресении.

Кратко, упрощенно замысел этот можно очертить так: Бог создал человека с душой и телом, то есть одновременно духовным и материальным, именно это соединение духа, души и тела называется в Библии и в Евангелии человеком. Человек, каким создал его Бог, — это одушевленное тело и воплощенный дух, и потому всякое разделение их, и не только последнее — в смерти, но и до смерти, всякое нарушение их единства — есть зло, есть духовная катастрофа. Отсюда и наша вера в спасение мира воплощением Бога, то есть принятием Им плоти, тела, и не призрачного, не «как будто тела», а тела в полном смысле этого слова: нуждающегося в пище, устающего, страдающего. Таким образом, в смертном разделении души и тела кончается то, что в Писании называется жизнью, то есть тем, что и состоит, в первую очередь, в одушевлении человеческого тела и в воплощении духа. Нет, в смерти не исчезает человек, ибо не дано твари уничтожить то, что призвал из небытия в бытие Бог. Но он, человек, погружается в смерть, в тьму безжизненности и бессилия, он, как говорит апостол Павел, предается распаду и тлению.

Я хочу еще повторить и подчеркнуть: не для этого разделения, умирания, распада и тления создал Бог мир. И потому Евангелие христианское провозглашает, что «последний враг истребится — смерть!» Воскресение есть воссоздание мира в его первоначальной красоте и целостности, это полное одухотворение материи и пол-

ное воплощение духа в создании Божиим. Мир дан человеку как его жизнь, и потому, по нашему христианскому, православному учению,— Бог не уничтожит его, а преобразует в «новое небо и новую землю», в духовное тело человека, в храм Божьего присутствия и Божьей славы в творении.

«Последний же враг истребится — смерть...». Это разрушение, это истребление смерти началось тогда, когда Сын Божий вольно, из бессмертной любви к нам, сам снизошел в смерть и ее тьму, ее отчаяние и ужас наполнил своим светом и своей любовью. Вот почему на Пасху мы поем не только «Христос воскрес из мертвых...», но также: «Смертию смерть поправ...».

Воскрес из мертвых Он один, но разрушил Он нашу смерть, разрушил ее владычество, ее безнадежность, ее окончательность. Нет, не нирвану, не тусклое загробное житие обещает нам Христос, а восстание жизни, новое небо и новую землю, радость всеобщего воскресения. «Восстанут мертвые и сушие во гробах возрадуются...». Христос воскрес и жизнь жительствоует, жизнь живет... Вот смысл, вот бесконечная радость этого действительно главного, сердцевинного утверждения Символа веры: «И воскресшего в третий день по Писаниям». По Писаниям, то есть в согласии с тем знанием жизни, с тем замыслом о мире и о человеке, о душе и теле, о душе и материи, о жизни и смерти, которое открыто нам в Священном Писании. Тут вся вера, вся любовь, вся надежда христианства. И вот почему, «если Христос не воскрес, вера ваша тщетна...».

14. И восшедшего на небеса...

«И восшедшего на небеса, — продолжает Символ веры вслед за исповеданием воскресения Христа из мертвых,— и сидящего одесную Отца» (то есть, в переводе с церковнославянского, «по правую руку от Отца»). Наш

следующий вопрос, таким образом, это вопрос о том, что в нашей вере, а также и в нашей жизни выражают, к чему призывают эти слова, это утверждение вознесения Христа на небо. Здесь необходимо остановиться на христианском смысле, христианском «звучании» слова «небо». Необходимо потому, что словом этим пользуются враги религии, недобросовестно толкующие его как сохранение христианством первобытного, донаучного понимания неба — как неба, так сказать, «физического», как места во вселенной, где находится и восседает Бог.

Между тем, это древнее верование не имеет ничего общего с христианским пониманием, ощущением и употреблением слова «небо». Да, конечно, оно взято из того натурального пространственного символизма, который присущ всем культурам, и в этом смысле его нужно рассматривать по аналогии с нашим употреблением таких слов, как «высокий» и «низкий», «широкий» и «узкий» и т. п. Ведь когда мы говорим про один поступок, что он «высокий», а про другой — что он «низкий», для каждого очевидно, что речь здесь идет не о пространстве, а о нравственной, духовной оценке данных поступков, так же, как определение человека «широким» или «узким» самоочевидно не имеет ничего общего с его телесным сложением. Так вот, слово «небо» на языке всех почти народов всегда имело, кроме своего «натурального» смысла, также и смысл символический или духовный, как символ высокого, чистого и даже запредельного. Да, в своих первобытных представлениях о мире, о космосе примитивный человек часто понимал этот символизм буквально. Первобытная космология делила мир, вселенную на три этажа: небо, земля, преисподняя, и, естественно, святое, божественное, высокое поселяла на небе, а злое, греховное и страшное — в преисподней. Так и в физическом мире, в физическом опыте небо «естественно» прекрасно, светозарно, чисто, возвышенно. Но о том, что христианство не имеет к этой космологии никакого отношения, свидетельствуют хотя бы

слова апостола Павла, призывавшего христиан «помышлять о небесном, не о земном», или же слова святого Иоанна Златоуста, радостно говорившего: «...что мне до неба, когда я сам становлюсь небом...».

Таким образом, повторяю, всякая попытка уличить христиан при помощи слова «небо» в ненаучности, примитивности, глупом суеверии — это не только попытка с негодными средствами, но и попытка, прежде всего, нечестная. И, однако, не может быть никакого сомнения в том, что слово, что символ неба имеет в христианской вере действительно ключевое значение. Прежде всего, в рассказе о творении мира Богом мир определяется как небо и земля. «Вначале, — так открывается Библия, — сотворил Бог небо и землю». Таким образом, небо — это в христианской вере не что-то внемирное, не другой мир. Это — присущее миру, присущее творению духовное, так сказать, вертикальное измерение его. Небо — это в мире то, что высоко, чисто, духовно, это то, что в человеке называет христианство его духом, душой. Не верующие в Бога, материалисты отвергают самое наличие присущей миру духовной, высокой, святой реальности. Для них все в мире объясняется снизу, из материи, из ее чисто физических безличных законов. Но для верующего не земля, то есть не материя, а небо мерит собою жизнь и ее смысл, не землей понимается небо, а небом — земля и земное. Носитель же неба в мире, по христианской вере, — человек. Человек создан «по образу и подобию Божьему», человеку дан ум — и, следовательно, сила знания, человеку дана совесть — и, следовательно, знание добра, человеку дан дух — и, следовательно, возможность постигать красоту и совершенство. Но в свободе своей человек может отпасть от небесного в самом себе, может захотеть жить только землей, только земным, или, говоря образно, опустить глаза свои — и это значит свой духовный взор, свое сердце — вниз. Вот это и называет христианство грехом и падением. Христианство верит и утверждает, что именно от

этого греха, от этого отпадения вниз, от этого отрыва от неба и пришел нас спасти Христос.

В своем пришествии в мир, в своем «вочеловечении» Христос снова явил «небо на земле», образ жизни, обращенной ввысь, к Богу, то есть к высокому, чистому, доброму, истинному, прекрасному, — ко всему, от чего оторвался человек в своей редукции, в своем сведении жизни к земле и земному. Христос открыл нам, даровал нам небо, указал нам собою смысл жизни как подъема, восхождения, вознесения и силой, правдой, божественным совершенством неба наполнил не только землю, но и самую, говоря на языке примитивных символов, преисподнюю.

Христос снизошел на землю, Он снизошел в смерть. Но с Христом и в Нем и в жизнь и в смерть было возвращено небо, открыт путь к победе над всем тем, что только земля, только земное, и чье конечное и безнадежное завершение — тьма смерти. Совершив все это, Христос «вознесся на небо». И это значит для христианской веры, что в Христе на небо вознесен Человек, что человек приобщен к небесной правде, и это значит — вернулся к Богу, к знанию Бога, и в Нем — к единственной подлинной, а потому вечной жизни. Каждый раз, что в Символе веры мы утверждаем: «и восшедшего на небеса», — мы говорим не только о Христе, мы говорим и о самих себе. Если мы верим во Христа, если мы с Христом — то и мы на небе, или, во всяком случае, к небу, ко Христу, к Богу устремлена наша вера, наш дух, наша любовь. Мы знаем небо как нашу подлинную жизнь, и в этом знании осмысленной и радостной становится и наша земная жизнь, так как она во Христе стала восхождением к вознесению.

15. И паки грядущего...

«И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца...». Христиане всегда верили во второе пришествие Христа. Для первых христианских поколений вера эта была радостной, они сами христианство переживали, прежде всего, как ожидание Христа. Последняя книга Нового Завета, так называемое Откровение или Апокалипсис Иоанна Богослова, завершается призывом: «Ей, гряди, Господи Иисусе!».

Апостол Павел в Послании к Фессалоникийцам говорит о радости этого пришествия: «И тогда, — говорит он, — мы всегда с Господом будем...». Однако постепенно, на протяжении веков, радость эта как бы растворилась в страхе — страхе последнего суда, который христиане стали называть страшным. И, наконец, сравнительно недавно, в последние два столетия, можно сказать, — выдохаться стал и этот страх суда, уступивший место страху уже не перед судом, а перед смертью...

Именно поэтому нам, христианам, нужно сегодня как бы заново вдуматься в изначальную христианскую веру во второе пришествие Христа, в восприятие этой верой суда, обещанного Христом. И наконец, в христианский опыт, христианское понимание страха. И может быть именно с последнего, со страха, и нужно начать. Нужно потому, что слово «страх» в христианском Писании и Предании употребляется в двух разных смыслах — положительном и отрицательном. Уместно сначала остановиться на смысле отрицательном. Этот отрицательный, можно сказать, даже греховный смысл страха лучше всего выражен святым Иоанном Богословом. В своем первом послании он пишет: «Боящийся несовершенен в любви, ибо в страхе есть мучение. Совершенная любовь изгоняет страх...». Смысл этих слов таков: человеческая жизнь — нужно ли это доказывать? —

насквозь пронизана страхом. Страхом неизвестности, страхом несчастья, страхом страдания, страхом умирания, страхом смерти. Страшна жизнь и страшна смерть, и именно от этого страха страстно хочет и не может освободиться человек... Не может и старается как бы заглушить его. Старается запрятать куда-то, не думать, не знать о нем. Но основа христианской веры в том как раз, что Христос пришел нас от страха этого, присущего всей человеческой жизни, освободить. В этом смысле сама вера есть победа над страхом. Ибо мы верим, что Христос открыл нам Бога как любовь, своей смертью победил смерть, своим воскресением открыл нам доступ в вечную жизнь, в вечную радость. Если мы верим во Христа и, веря, любим — нет места страху в нашей душе, он уничтожен светом веры, надежды и любви. Поэтому для верующего — и именно об этом говорит Иоанн Богослов — страх греховен, он показывает недостаток любви ко Христу, недостаток веры в Него. И это же объясняет ту радость, с которой первые христиане ждали возвращения Христа, радость слов, которые, пожалуй, уже и не задумываясь о них, мы продолжаем повторять: «Да приидет Царствие Твое...».

Таков, следовательно, христианский смысл слова «страх», смысл, который я называю отрицательным. И только по отношению к нему можем мы почувствовать второй, положительный смысл. Он выражен в словах Писания: «Начало премудрости — страх Господень». Это страх, который не только не уничтожается в вере, любви и надежде, а присущ им как их глубина. Этот страх — не от незнания, а от знания Бога, от знания Его безмерной святости, любви, от знания Его призыва, обращенного к каждому из нас: «Будьте святы, ибо Я свят», «будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Сущность его: благоговение, восхищение, чувство недостойности. Этот страх иногда, очень редко, испытываем мы и в нашей жизни — когда встречаемся с красотой, совершенством, когда прикасаемся к чему-то

высокому, чистому и прекрасному, и в свете этой встречи постигаем свою падшесть, греховность и мелочность своей жизни. Потому это страх спасительный, страх, рождающийся от света и радости, и, по свидетельству святых, этот страх возрастает в душе человеческой по мере приближения ее к Богу. Его не способен пережить мелкий, самовлюбленный, самодовольный человек, погруженный в суету; ему противостоит цинизм, грубость, гордыня, вульгарность, все то, что в падшем человеке заглушает способность к очищению, к восхождению, к совершенству. Именно этот страх открывает нам смысл того последнего, Божьего суда над нами, который называем мы «страшным судом». Нет, это не суд Хозяина, Владыки над рабами. Это суд над нашей душой самой Божественной любви, Божественного добра, Божественной истины и Божественной красоты. Так, в своей притче о суде Христос не говорит о нарушении закона. Он говорит: вы не увидели Меня в братьях, вы не увидели Меня в вашей жизни. Здесь страх не от боязни наказания, ибо не боязнь наказания движет любовью к Богу, рождает в человеке тоску по совершенству и по подлинной жизни. Это страх Божий, это горестное сознание нами наших измен Божественной любви, дарованной нам во Христе. Первые христиане ждали Христа, ждали Его второго пришествия потому, что в них — верили и духовным опытом знали они — откроется вечное царство любви, знание Бога и в Нем — жизни вечной.

Да, они ждали Христа «со страхом и трепетом», как и к причастию подходим «со страхом Божиим и верою...». И это значит — с благоговением, с сознанием высоты дара и нашего по отношению к высоте этой — недостойнства. В свете понимания нами всего этого можно и нужно сказать, что отношение наше ко второму пришествию Христа есть мерило нашей веры во Христа и нашей любви к Нему. Если мы только боимся Его, боимся, как боится рабы хозяина, то несовершенна наша вера и отсутствует в нас любовь. Если ждем Хрис-

та «со страхом Божиим и верою», то знаем и то, что в нем воссияло прощение грехов и что бесконечно милосердие Божие, и что одна слеза подлинного раскаяния и подлинной любви сильнее всех грехов.

16. Его же Царствию не будет конца...

Может быть именно в наши дни, дни усиления страха на земле, нужно нам внутренне вернуться к радостному и победному смыслу слов Символа веры: «Его же Царствию не будет конца». Всякий, кто хотя бы раз в жизни прочел Евангелие или же слышал его в церкви, знает, конечно, что проповедь Христа была, прежде всего, проповедью о Царстве Божьем, его возвещением. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие», — вот первые слова Христа в Евангелии, которое говорит, что Христос проходил через всю страну, «проповедуя Евангелие Царства», проповедуя, иначе говоря, благу, радостную весть о Царстве.

Если собрать все притчи Христа о Царстве, если вдуматься и вслушаться в то, что говорили, как свидетельствовали о нем святые, мученики, апостолы, если обратить внимание на то, что говорит, всегда говорила о нем Церковь, то смысл этого понятия, этой возвещенной Христом реальности окажется очень отличным от расплывчатого понятия «загробного мира». Царство Божие — это полнота жизни, полнота радости, полнота знания, это торжество Божественной жизни — все то, для чего создал Бог человека и мир, от чего отпал человек в грехе и себялюбии и что снова явил и даровал нам Христос — как конечную цель, но и как содержание науки и мира. В том и особенность, в том и единственность христианского учения о Царстве Божьем, в том несводимость его ни к какой другой религии, потому мы можем молиться о Царстве, желать его, любить его как последнее и высшее сокровище уже теперь, сейчас, в

нашей земной жизни. «Не придет Царство Божие приметным образом, — говорит Христос, — и не скажут о нем — оно тут или там, ибо Царство Божье внутри вас». Ибо Царство Божие, прежде всего, в самом Христе, в Его жизни — человеческой, но светящейся Божественной красотой, добром и истиной. Царство Божие в любви Христа, в Его послушании, в Его самоотдаче, в Его победе. Христос говорит: «если любите Меня...». Так вот, Царство Божие — это любовь ко Христу как смыслу, содержанию и исполнению жизни. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков», — восклицает апостол Иоанн Богослов.

И вот эта жизнь явилась нам, дана нам, мы можем ею жить, и это и есть Царство Божье внутри нас. Вглядитесь, например, в лучезарный образ преподобного Серафима Саровского, одного из величайших русских святых. Разве о «загробном мире» и о «бессмертии души» думает он? Нет, преподобный Серафим Саровский живет Богом, Христом, радостью знания Христа, близости к нему, радостью в такой мере, что самое смерть воспринимает как еще большее соединение с любимым. Это и есть Царство Божие. Завершится, исполнится, придет во славе, как говорит Символ веры, то, что уже явилось, то, о чем тот же Иоанн Богослов говорит: «о том, что мы видели, о том, что осязали руки наши...». И это явление, эта радость столь всеобъемлюща, что апостол Павел пишет: «Ни жизнь, ни смерть не отлучат нас от любви Христовой».

Итак, о Царстве Божьем можно и нужно сказать, что мы молимся о нем, потому что любим его, любим же его потому, что знаем его, потому что Христос открыл и даровал нам его. Оно не приходит «приметным образом». Мир продолжает жить своими страстями и своими страхами, своей активностью и своей жадностью. Миллионы людей топчутся на нашей планете, каждый стараясь урвать хоть немного счастья. Но тот, кто, хоть отчасти, хоть иногда, открывает свою жизнь

Христу,— узнает об иной жизни, об ином образе жизни, изнутри освобождается от своего порабощения мировой суете, и в его душе воцаряются те «радость и мир в Духе Святом», которых никто не может дать на земле и которые, между тем, тут, внутри нас. Мы падаем, грешим, уходим от них, но забыть до конца уже не можем — и вот каемся и возвращаемся, и снова объемлет нас та же Божественная любовь, тот же свет. «И Царствию Его не будет конца», — ибо, как говорит Христос, есть жизнь вечная, да знают единого истинного Бога и Того, Кого Он послал — Иисуса Христа. Об этом вечном Царстве, вечной жизни и вечной радости — слова Символа веры.

17. И в Духа Святого..

Вот эта часть Символа веры в переводе с церковнославянского на русский язык, ибо на славянском языке она стала, я боюсь, более непонятной, чем все остальные: «И в Духа Святого, — говорит Церковь, — Господа животворящего, который исходит от Отца, которому поклоняемся мы наряду с Отцом и Сыном, который говорил через пророков...». Кто этот Дух Святой, которого Символ называет «Господом животворящим» и которому призывает нас поклоняться вместе, то есть наравне, с Отцом и Сыном? Говорить о Духе Святом, пытаться объяснить веру в Него на нашем рациональном человеческом языке неизмеримо труднее, чем говорить об Отце и Сыне. Бог как Творец мира, как любящий Отец, как Вседержитель — это отчасти может вместить наш ум. В Сына Его едиnorodного мы верим потому, что верим Христу, потому что любим образ Его, потому что Он сам утверждает о себе, что Он — Сын Божий. Но когда мы пытаемся говорить о Духе Святом, то нам трудно, если не невозможно, почувствовать, воспринять, осознать отличие Его от Отца и Сына, или, проще, вос-

принять смысл церковной веры в Троичного Бога, в Единого Бога, открывающегося нам в трех лицах или личностях. Между тем, именно такое знание Бога, такой религиозный опыт Его Церковь считала всегда, считает и теперь вершиной веры, вершиной духовной жизни, той последней и всеобъемлющей истиной, знание которой называет Евангелие жизнью вечной.

Остановимся, прежде всего, на самом слове дух, которое, хотя оно звучит для нас привычно и «самоочевидно», оказывается далеко не таким самоочевидным при первой же попытке определить его. Вот, например, мы говорим: «весь дух пушкинского творчества — светлый». Что это значит? Что хотим мы этими словами выразить и передать? Не то ли, что всякую реальность, в том числе и пушкинское творчество, мы можем воспринимать и воспринимаем не только в ее «объективности», «фактически», но и в излучаемой ею силе — положительной или отрицательной. О Пушкине можно сказать, что у него есть стихи серьезные и шуточные, глубокие и поверхностные, счастливые и трагические. А все-таки, говорим мы, дух пушкинского творчества — светлый. И это несмотря на то, что Пушкин прожил, в сущности, не очень счастливую, трудную, а в последние годы — и просто несчастную жизнь. Таким образом, то, что мы называем духом пушкинского творчества, — это не просто отражение его характера в его произведениях. Это что-то гораздо более глубокое, самое глубокое в Пушкине, глубже его сознания, идей, настроений, то, что поистине живет и светит нам в его творчестве. Мы мало думаем об этом, но из приведенного примера можно заключить о существовании духовной глубины и духовной власти, духовного измерения жизни. Дух ни с чем не отождествим, и однако — во всем присутствует, через все просвечивает, он есть, в самом последнем смысле, — жизнь самой жизни. Это то, о чем сказано в Евангелии: «Дух дышит, где хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит...». На древнееврейском языке, на

котором написана Библия, слово «дух» — «руах» — означает, прежде всего, ветер, силу, которая невидима глазу и тем не менее может двигать вещами, невидимую, но очевидную силу жизни. И потому, когда мы применяем слово «Дух» к Богу, то утверждаем одновременно невидимость Бога и его присутствие, Его действие, Его животворную силу в мире и в жизни. Дух Святой — это Бог в Его действии, в Его «животворной» силе в нас, в мире, во всей природе. Дух Святой — это присутствие Бога везде и всегда. Вот почему и называем мы Его — Духом, а также Господом, и, наконец, животворящим. Без опыта этого присутствия — невидимого, но осязаемого Бога — Бог был бы «идеей», и при этом самой слабой, самой недоказуемой, самой, так сказать, отвлеченной из всех идей. Мы не можем «показать» Бога» и потому не можем доказать Его, как не можем ни показать, ни доказать радости и красоты солнечного сияния слепорожденному, как не можем доказать светлого духа пушкинского творчества тому, кто, не зная русского языка, не может прочесть его. Об идее Бога можно без конца спорить и ни до чего не договориться. Но опыту духовного Его присутствия никакие доказательства не нужны. Его, этот опыт, раз и навсегда выразил, воплотил апостол Павел, сказав: «радость и мир в Духе Святом».

Далее Символ веры говорит: «Дух Святой, который от Отца исходит». И опять, чтобы понять, что это значит, воспользуемся тем же земным примером. Дух пушкинского творчества от Пушкина, но он не есть Пушкин. Через дух пушкинского творчества мы можем узнать Пушкина, но, даже зная все подробности биографии Пушкина, мы не узнаем духа его творчества, если не прочтем его произведений. Святой Дух — это присутствие, явление, действие в мире любви Отца, мудрости Отца, творения Отца, но Он не есть Отец. Он весь от Бога-Отца, поэтому Он сам — Бог, но Он не Отец. Дух Божий от Отца исходит, об Отце и Сыне свидетель-

ствует, к Отцу приводит, но Он не есть Отец, не есть и Сын. Если Бог есть Любящий, если Сын есть Любимый, то Дух Святой есть Любовь, соединяющая их, их единство, их единый свет, сила и истина. Он есть дыхание Бога в мире, Он тот, через которого мы, по слову Достоевского, «касаемся мирам иным». Он ответ Божественной красоты и Божественного добра, Он тот, кто все в мире раскрывает как путь к Богу, как стремление к Нему, как радость Его присутствия. Любящий, Любимый, Любовь: светлая тайна Троицы, откровение последней тайны самого бытия Божия.

Мы верим в единого Бога, но не Бога-одиночество, не Бога-себялюбие, не Бога, в себе и собою живущего. Бог есть Любовь, говорит христианство. А любовь есть обращенность к Другому, в пределе — отдача себя Ему. Отец, говорит Евангелие, любит Сына и все отдал Ему. Сын, говорит Евангелие, любит Отца и Себя отдает Ему. И, наконец, сам дар любви, сама эта любовь — как дар, радость, полнота, бытие, жажда и обладание, отдача и принятие — есть Дух Святой. И этой любовью, этой отдачей Бог творит мир, призывает каждого из нас к бытию, делает каждого из нас любимым и свою любовь, свой дух дарует каждому, чтобы каждый мог приобщиться Божественной жизни. И мы молимся Духу: «Приди и вселися в нас!». Мы говорим ему: «Утешитель, Сокровище благих, жизни Податель...». И Он вселяется в нас, наставляет нас, по слову Христа, на всякую истину, дарует нам вечную жизнь. Вот светозарная тайна христианской веры, тайна Бога—Троицы, Бога—Любви...

18. Глаголавшего пророки...

Остановимся на словах Символа веры о Духе Святом: «...глаголавшего пророки», то есть, в переводе с церковнославянского: «Дух Святой.. который говорил

через пророков». В христианской вере понятие пророчества и пророков занимает огромное место. Заметим, что в обычном употреблении слово «пророчество» стало равнозначно слову «предсказание». Пророк — это в нашем сознании тот, кто предсказывает будущее, нечто вроде «ясновидящего». Нужно со всей силой подчеркнуть, что хотя «предсказание будущего», вне всякого сомнения, входит в религиозное, христианское восприятие и понимание пророчества, оно, во-первых, не исчерпывает собою этого понимания и, во-вторых, не является в нем главным, центральным. Добрая половина Ветхого Завета состоит из писаний пророков, но они совсем не сводятся к предсказанию будущего. Суть, глубина пророчества в другом, и только по отношению к этому «другому» можно по-настоящему понять отношение пророков и пророчества к будущему. Суть пророчества в даре возвещения людям воли Божьей, скрытой от человеческого взора в событиях человеческой жизни и истории, но открывающейся духовному взору пророка. Эта суть пророчества особенно хорошо выражена в религиозно гениальном стихотворении Пушкина «Пророк». «...И Бога глас ко мне воззвал, / Восстань пророк и виждь и внемли / Исполнишь-волею моею / И обходя моря и земли / Глаголом жги сердца людей...».

Можно только удивляться тому, с какой полнотой и силой в этих немногих прекрасных и бессмертных строчках выражена суть пророчества и призвание пророка. Пророк — это тот, кто услышал голос Божий, то есть некий таинственный, к нему и только к нему обращенный призыв, приказание. Голос этот говорит: «восстань», и это значит — выйди из суетной и пустой жизни, которой ты, как и большинство людей, живешь, разорви путы обыденщины, скрывающей от нас глубокий, потаенный смысл совершающегося. Затем этот голос говорит: «и виждь, и внемли!». Это приказ видеть, это приказ слышать. Видеть то, чего не видим мы

нашим обычным, к земле и к земному прикованным взором... Услышать то, что мешает нам слышать шум житейской суеты. Увидь другое — главное, услышь другое — главное. И дальше: «исполнись волею моею». Это значит — сделай себя служителем не твоих земных и человеческих соображений, планов, желаний, а Моего — Божественного — замысла, Моей — Божественной — воли. И завершает голос, обращенный к пророку: «И обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Моря и земли — это значит весь мир, вся вселенная, все творение Божие. И это значит, что, хотя пророк, как и каждый человек, ограничен временем и пространством, живет в определенных условиях, является свидетелем определенных событий, Божественная миссия его преодолевает эту ограниченность, обращена к миру. Или, может быть, лучше сказать так: в самом малом он видит, он слышит, он различает волю Божию, то есть смысл и значение этого малого для всего мира, для каждого человека, для всей истории.

Почитайте ветхозаветных пророков. Они пишут о событиях: войнах, переворотах, убийствах, завоеваниях, в мировой перспективе, каких-то маленьких государств, о людях и событиях давно всеми забытых и с точки зрения наших современных проблем, современного знания — в сущности, ничтожных. Все эти царства истории, войнам которых между собою посвящена огромная часть Библии, сегодня можно облететь на самолете в два-три часа. Почему же мы должны все это не только знать и помнить, но еще признавать священным, боговдохновенным Писанием, Словом Божиим? Да потому что пророки — в этих малых событиях — сами видят и нам раскрывают — волю Божию, уже не об этих только народах и событиях, а о самом человеке, о самой жизни, о самом мире. Для них, пророков, все становится знаком, откровением, призывом, уроком. Через малое раскрывается во всем своем неизреченном величии замысел Божий о нас. Замысел не только о

том, что совершается сейчас, но также, и прежде всего, о конечной цели мироздания. В этом смысле пророчество обращено и к настоящему, и к прошлому, и к будущему.

Это «видение», эту волю Божию, этот замысел Божий и раскрывает пророк, им жжет сердца людей. Ибо это не просто «объяснение» и не просто «предсказание», как у гадалок и ясновидящих. Это именно призыв, а раз призыв — то и суд. Это раскрытие воли Божией и призыв принять ее. Это обличение зла и призыв к борьбе с ним. Это явление любви Божией и призыв любить Его. Церковь решительно отвергает и осуждает хождение ко всевозможным гадалкам и предсказателям будущего. Почему? Да потому, что хождение это предполагает фатализм, и это значит — отрицание свободы. Пророчество же, напротив, есть страстный призыв к свободе, к освобождению от сковывающих человека фатализма и пассивности.

«Если не покаетесь, все также погибнете!» Вот, в конце концов, сущность пророчества. Оно всегда есть явление двух, и только двух путей, между которыми все время, всегда, в большом и малом призван выбирать человек. Путь Божий и путь не-Божий, и потому противу-Божий.

«Если не покаетесь...». Но это значит, что человек может покаяться, может преодолеть греховный фатализм, может перемениться, может выбрать волю Божию... Миссия пророка — жечь сердца людей этим призывом, обращать их к этому выбору... Пророчество от Бога, от Святого Духа. Ибо нашему земному знанию не дано видеть таинственного и Божественного смысла всего того, что совершается в мире. Можно сказать даже, что чем шире наше знание о мире (а в наши дни оно достигло неслыханной широты), тем все менее и менее глубоко оно. И вот возвещать именно это глубокое знание и посылает Дух Святой пророков.

Надо прибавить, что, по христианской вере, дар про-

Пророчества дан в каком-то смысле каждому христианину, ибо каждый из нас получил дар Святого Духа. Каждый из нас призван к глубокой жизни и к глубокому знанию. И каждый из нас, увы, призвание это заглушает в себе и изменяет ему. И о том, чтобы восстановить его в нас, молимся мы в молитве Святому Духу: «Приди, вселися в ны». И еще последнее: «Пророчества не угашайте», — говорит нам апостол Павел.

19. Во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь...

Нужно прежде всего остановиться на самом слове Церковь. В греческом оригинале Символа веры мы находим слово *эκκλησία*, которое на русский язык можно перевести так: «собрание позванных», то есть людей, которых призвали на это собрание, людей, на этот призыв согласившихся. Иначе говоря, не просто собрание, которое может быть и случайным и не иметь никакого особого назначения или задачи. Нет, собрание, во-первых, с определенной целью, и потому, во-вторых, собрание людей призванных и способных постичь эту цель, осуществить ее. Итак, чтобы понять центральное место Церкви в христианской вере, мы должны спросить себя: кто же собирает это собрание и для какой цели? На первый из этих вопросов отвечает сам Христос в Евангелии: «Созижду, — говорит Христос, — Церковь мою...». Церковь созидает Христос. Это собрание, это единство тех, кого призвал и призывает Христос. Церковь Христос создает прежде, чем обращается к людям со своей проповедью. Действительно, Христос начинает свое дело с того, что именно призывает к себе двенадцать человек, которым Он говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал...». И после его отшествия именно эти двенадцать остаются как Церковь, и они, в свою очередь, «призывают» людей присоединиться к ним.

Церковь, таким образом, основана на Христе. Это Его Церковь, ответ на Его призыв, послушание Его воле. Напомнить это важно потому, что сами христиане очень часто это забывают, начинают воспринимать Церковь как свою, как организацию, которая, в сущности, призвана служить им, удовлетворять их нужды, их духовные и не только духовные потребности. Между тем как само слово «церковь» прежде всего означает, что это единство тех, кто служит Христу, продолжает Его дело. Это служение не себе, а Богу. В чем же состоит служение, или иначе — в чем та цель, то дело, ради которого Христос основывает или, как Он говорит, «созидает» свою Церковь? На этот второй вопрос отвечают четыре определения, которые в Символе веры предшествуют слову «церковь»: «Верую,— говорит каждый из нас,— во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь». Остановимся кратко на каждом из этих определений.

Церковь едина. Подчеркнем сразу же, что слово это определяет Церковь не извне, а изнутри. Это не внешнее, а внутреннее, духовное ее определение. Так как внешне Церковь разделена на множество «церквей», или, как говорит один из древних христианских памятников, «рассеяна» по всему миру. И однако — где бы она ни была, сколь бы ни была она рассеяна, Церковь повсюду призвана являть людям то единство, которое явил в мире Христос. Ибо мир, человечество живут по закону разделения и противополжения. Все на земле разделяет людей, все — даже то, что некоторых из них «объединяет», то есть нации, убеждения, идеологии, вкусы и тому подобное. Грех мира и его трагедия в том, что вся жизнь мира — это, на глубине, война всех против всех — ради себя. И вот, этому разделению Христос противопоставляет единство. Единство, прежде всего, с Богом, единство свыше. Чем ближе люди к Богу, тем ближе они друг к другу. Единство, далее, с собою. Христос пришел ко всем и для всех, и поэтому в Хри-

сте, в Его учении, в Его жизни люди могут найти то единство веры, надежды и любви, которое ничто другое в мире дать не может. Единство, наконец, конечной цели, конечного призвания мира и человека — как единства всех и всего в Боге. Это единство и есть Царство Божие, и именно это новое единство, единство во Христе и призвана являть, ему служить, его осуществлять Церковь всюду и всегда.

«Верую,— говорим мы дальше,— в святую Церковь...». И опять это слово, конечно, не означает, что Церковь состоит из святых и совершенных людей. Оно означает, что дело Церкви освящать нашу жизнь, и это значит — очищать ее силой Божьей, освобождать ее от порабощения греху, возносить ее к Богу, направлять ее ввысь, преобразовать ее Духом Святым.

За святостью исповедуем мы соборность Церкви. Слово «соборная» — это славянский перевод греческого слова «кафолики», означающего, во-первых, всемирность, универсальность и, во-вторых, целостность и полноту. Церковь — вселенская, универсальная потому, что Христос и Его учение обращены не к какому-либо одному народу, и не к какой-нибудь одной эпохе или культуре, а ко всему человечеству, ко всем культурам и ко всем эпохам. Мы это часто забываем, сужаем Церковь и христианство до своего народа, делаем из нее что-то узкое, провинциальное, частичное. Но Христос говорит: «Идите ко всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари...». И на это веками отвечает Церковь: «Вся земля да поклонится Тебе...».

И это так потому, что учение Христа целостное, и это значит: всеобъемлющее, обнимающее собою всю жизнь человека, отвечающее на все его вопросы, обращенное ко всей жизни...

И, наконец, исповедуем мы Церковь апостольской. Апостолы — это те двенадцать первых учеников, которых, как я только что сказал, Христос Сам избрал

и сделал как бы основанием Церкви. Слово «апостол» означает по-гречески «посланец». Это значит, что Церковь, во-первых, основана всегда и навеки на свидетельстве, на учении, на проповеди тех апостолов, которых избрал и научил сам Христос, и во-вторых, что Церковь всегда призвана к апостольству, всегда послана в мир, к людям, ко всей твари, всегда остается миссией, то есть служением делу Христову в мире. Таков смысл слов Символа веры о Церкви, смысл, напомнить о котором так бесконечно важно в наши дни.

20. Во едино крещение...

«Исповедую едино крещение, во оставление грехов...». Евангелие Матфея кончается приказанием Иисуса Христа своим ученикам: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле; итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Именно в свете этих слов, а также в свете смысла слова «крещение» как оно употребляется в Евангелии, мы и должны постараться понять крещальное исповедание Символа веры.

Начнем с последнего. Если Евангелие завершается заповедью крестить все народы, то начинается оно с рассказа о крещении, которым крестил Иоанн Предтеча и которое от него принял в реке Иордане сам Христос. Для современников Евангелия крещение, по-гречески «баптизма», т. е. символическое погружение в воду, было понятным обрядом. Оно означало, что человек сознал себя загрязненным грехом, раскаивается и жаждет очищения, прощения, возрождения. Вода, источник жизни, источник очищения, была здесь самым подходящим, «самоочевидным» символом, а погружение в воду — самым распространенным обрядом. Принимая крещение

от Иоанна, Христос дал этому обряду новый смысл. Он соединил обряд этот с собою. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира», — говорит Иоанн Креститель, видя приближающегося к нему Иисуса. И когда перед вознесением на небо воскресший Христос заповедует апостолам крестить все народы, это означает, что Он оставляет им и их последователям, общине всех тех, кто поверит в Него, — знак, дар, силу прощения грехов и обновления жизни, которые он, Сын Божий и Спаситель, принес людям. Учение Христа о любви к Богу и к ближнему, о праведности и чистоте можно воспринимать умом. Но всякому, кто хотя бы раз в жизни прочитал Евангелие, не может не стать очевидно, что принятие учения Христа в христианстве, в Евангелии неотрывны от веры в Него. Ибо учение Его — не философия, не мораль, отношение к которым не зависит от нашего отношения к тому, кто философию или мораль эту нам предлагает. Учение Христа — это прежде всего благая весть, возвещение, что в мир явился Бог, и явился — чтобы спасти людей от греха и смерти, даровать им новую, святую жизнь. Поэтому поверивший во Христа жаждет соединения с Ним, жаждет дара спасения, новой жизни. Крещение в христианстве — знак этого дара, или, как говорит Церковь, — таинство; в таинстве, т. е. погружении в воду во имя Отца, Сына и Св. Духа, — невидимо осуществляется соединение со Христом, и в нем с Богом Отцом и с даром Духа Святого.

Апостол Павел говорит, что в крещении мы соединяемся со Христом подобием смерти и воскресения. Погружение в воду — это знак смерти, смерти человека в его полном порабощении материи, греху, эгоизму, страстям. Возведение из воды — это знак воскресения и оживления, начала новой жизни в единстве со Христом. Христос — по вере Церкви — воскрес из мертвых, и смерть, по слову апостола Павла, им уже больше не обладает. И вот, свою воскресшую и бессмертную жизнь, свою любовь, силу своей победы Он дарует в крещении

нам. Отсюда та удивительная радость, которая окружает крещение в ранней Церкви, отсюда вера в него, как в духовное, но реальное соединение со Христом. «Мы спогреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как и Он, ходить в обновленной жизни», — пишет ап. Павел.

Для христиан крещение — это основа Церкви. Ибо Церковь, т. е. общество верующих во Христа, это не просто организация для распространения учения Христа и для взаимной помощи и поддержки. Это единство во Христе всех тех, кто от Христа принял дар новой жизни и прощения грехов. Единство веры, т. е. приятия Христа как Бога и как Спасителя. Единство любви к Нему, и в Нем — друг к другу. Рассеянная по всему миру, среди всех народов, Церковь составляет новый народ Божий, соединенный не кровью и плотью, не земными интересами, как государство и нация, не языком, и даже не общностью исторической судьбы, а народ, соединенный верой во Христа, любовью к Нему и опытом Его присутствия. «Я с вами во все дни до скончания века».

На земле человек рождается членом определенного народа или нации. Но христианин рождается и вступает в новый народ Божий крещением. «Вода крещения, — пишет один христианский святой, — для нас гроб и мать». Гроб, потому что в воде этой умирает человек, ограниченный только земным и материальным, только «плотью и кровью». Мать, потому что в воде этой рождается новый человек, прощенный, очищенный, возрожденный, живущий уже здесь и сейчас новой и вечной жизнью...

Все время приходят люди ко Христу, слышат Его голос, отдают Ему свое сердце, свою любовь, свою жизнь. Эта самоотдача Христу и есть крещение. Отдав себя Ему, получают они от Него Его жизнь, Его самоотдачу нам. И эта самоотдача Христа нам — есть крещение.

21. Чаю воскресения мертвых...

До сих пор на протяжении всего Символа веры ключевым, краеугольным словом было начальное слово: «Верую...». Именно оно подразумевалось в каждом утверждении: верую — во единого Бога, верую — в Сына Его Иисуса Христа, верую — в Его воплощение «нас ради человек и нашего ради спасения», верую в Духа Святого, и, наконец, верую в Церковь.

Но вот теперь, в утверждении заключительном, которое как бы подводит итог всей нашей вере, всю ее обнимает и объединяет, мы слышим другое слово. Слово это — чаю, т. е., в переводе с церковнославянского: жду. Жду воскресения мертвых и жду жизни будущего века. Именно на этом слове нам и следует остановиться, ему — духовно удивиться... Ведь не только слово «вера» но и утверждение «я верю» можно переживать и понимать по-разному. Сказать, например, «я верю в неизблемость законов природы» — еще не раскрывает моего личного, внутреннего отношения ни к этой неизблемости, ни к самим законам, не выражает ни радости, ни печали о них. Но когда, перечислив все то, во что я верю, я добавляю — жду, это означает, что моя вера во мне претворяется в некое активное состояние, пронизывающее меня и определяющее так или иначе мою жизнь. Я верую и потому жду. Я жду того, во что верю. Тут ожидание раскрывается как направленность, как действие веры, а вера — как источник ожидания. Славянское «чаю» сильнее русского «жду». «Чаю» включает в себя именно желание того, чего я жду, радость о нем как о приближающемся счастье. Но чаять, ждать в этом смысле можно только чего-то, что я уже хотя бы отчасти знаю. Вот тут-то и раскрывается нам то, что я называю особенностью — радостной и бесконечно глубокой — христианской веры. Вера эта — не в утверждении

отвлеченных умственных истин. Нет, она сама есть, прежде всего, встреча с Тем, Кого она утверждает, и потому — знание, видение души, пронзенность сердца. Я чаю, я жду воскресения мертвых, потому что сама вера во мне, хотя бы в лучшие, чистые и высокие минуты моей жизни, пронизана пасхальным светом, тайным, но таким радостным знанием, что Христос воскрес из мертвых, чтобы нам открыть путь к нашему воскресению: Он даровал нам свою бессмертную, из гроба воссиявшую, свободную от смерти жизнь, и тем самым — нашу смерть сделал входом, приближением, началом победы. Я жду, я чаю воскресения мертвых, потому что оно даровано мне, потому что вся христианская вера есть не что иное, как внутреннее, умом недоказуемое и все же самоочевидное знание, что человек призван к вечности.

Вот почему Символ веры заканчивается этим радостным чаю, жду... Идет жизнь. Каждый день приносит свои печали и радости. Мы падаем, поднимаемся, снова падаем... Но если когда-то вошла в душу вера, если состоялась, произошла, иногда почти совсем не приметная, встреча со Христом, и в Нем — с Благим и любящим Отцом, если коснулось души дыхание Духа Святого, если раскрылась нам не внешняя, а внутренняя жизнь Церкви, это постоянное восхождение ее к трапезе Царства, если полюбили мы лучезарный образ пречистой Девы Матери, увидели сердцем ласковую улыбку преп. Серафима, услышали внутри себя голос, вечно зовущий домой, к Богу, — то тогда «верую» претворяется в нас в «чаю» — «жду». Хочу, люблю, жду... И внешне, может быть, ничего не произошло и не произойдет с моей жизнью. Но на глубине ее воцаряется это «жду». О, суета жизни будет все время заглушать его, я буду как бы засыпать в житейских буднях. Но до конца уже не забуду, до конца не предаю этого света, этой радости, этой новой жизни, затеплившейся во мне.

«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Каким-то краем души я уже вкусил этой жизни и знаю,

что она уже сейчас, уже тут началась и доступна. И потому всякий верующий во Христа не только ищет у него помощи в «этом веке», в этой жизни. Он ждет Его. «Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Завершен Символ веры, и сама вера живет и побеждает, знает и ждет...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

ВВЕДЕНИЕ

1

Церковный год издревле начинался в сентябре. И хотя в наши дни этого, конечно, никто почти не знает и не помнит, в начале осени уместно подумать немного о том отношении ко времени, или, вернее, о том понимании времени, которое заложено в этих словах: «церковный год».

Антирелигиозная пропаганда потратила много сил на борьбу с религиозными праздниками. Их развенчивают и разоблачают как выдумку, как обман, как древние и первобытные мифы, не имеющие в наше время никакого смысла. Между тем, само количество книжек и брошюр, посвященных борьбе с праздниками, объем всех этих усилий красноречиво свидетельствует о том, что праздники живучи и что истребить, вытравить их из человеческой жизни очень трудно. Сколько ни разоблачай христианство и евангельские рассказы о рождении Христа, сколько ни называй елку новогодней, а вот все же зажжется она в темные декабрьские дни, и звезда будет на ней — в память той звезды, что сияла над Вифлеемской пещерой. И все это вместе взятое: и звезду, и елку, и огоньки свечей, отражающиеся радостью в детских глазах, — все равно никак не свести к диалектическому материализму и научно-атеистическому мировоззрению. И почему нужно в эту единственную весеннюю ночь, когда христиане празднуют «праздников праздник» и «торжество всех торжеств», мобилизовать толпы комсомольцев, чтобы пытаться криками и бранью заглушить слова, лучше, прекраснее которых нет на земле: «Ныне вся исполнишася света, небо и земля и преисподняя, да празднует мир видимый же весь и невидимый восстание

Христово, в Нем же утверждается...». И вот кричат-надрываются, а Пасха так же сияет, так же радуется, как тысячу лет назад.

Может быть, стоит вдуматься в смысл этих праздников, этого «церковного года», которые столетиями буквально осмысливали и освящали жизнь миллионов людей? Может быть, вместо того, чтобы писать плоские брошюры, из которых следует, что несколько столетий самая грубая ложь владела почему-то жизнью людей, стоит постараться понять эту удивительную, органическую ткань праздников, дающих каждому времени года свою особенную окраску, свою особенную глубину?

Свет Рождества, светлая печаль Поста, из которой подспудно, незаметно растет радость Пасхи, летом и солнцем наполненные праздники Вознесения и Троицы, августовская, предосенняя глубина Преображения и Успения. Выдумки? Обман? Миф? Допустим.— Но почему же не попытаться понять, что за ним стоит некий глубокий подход к жизни? Ведь одно ясно — человек не может жить без праздника и без празднования.

Социологи — и притом совсем не религиозные социологи, как, например, Дюркгейм, — давно уже доказали научно и объективно, что праздник принадлежит к самой глубокой, к самой первичной основе человеческой жизни и культуры. Не было общества, не было цивилизации без праздников. Ведь даже в антирелигиозном, воинствующе безбожном обществе праздник остается, и создается свой, пускай безбожный, но круг праздников: праздник труда, женский день, праздник того, праздник сего. И остается праздничный обряд или ритуал: процессия, парад, цветы, пение, музыка, веселье, отдых, пиршество. Поэтому, повторяю, не нужно развенчивать и обличать праздники как религиозную выдумку и обман, а нужно задуматься над самим фактом праздника и празднования в человеческой жизни, над их значением для человека. Можно праздновать то или другое, но остается сама неиссякаемая нужда в празднике. Так

Тот, откуда она, что выражает, чему соответствует, на что указывает она в природе человека?

Как я уже сказал, мы не знаем человеческого общества, сколь бы оно ни было первобытно, без праздников. Что же мы знаем об этих первых праздниках? Две основные вещи. Во-первых, и это самоочевидно, праздник соответствует неизбежному для человека ритму труда и отдыха. Чтобы жить, человек должен работать, но он не может работать без отдыха; отсюда всюду и везде рождается ритм труда и отдыха, причем отдых, возможность не работать ощущается всегда как радость. Это первый, самоочевидный корень праздника. Но это не только не единственный корень, это фактически менее важный фактор в становлении праздника как праздника. Второй его корень — осмысление через праздник самого труда и, следовательно, всей жизни. И именно тут, в этой абсолютно неистребимой в человеке потребности не только отдохнуть, но получить радость, найти смысл своей жизни, тут настоящий источник праздника и его неистребимости в жизни человеческого общества.

Животные тоже живут ритмом труда и отдыха, им тоже физиологически нужна передышка, отдых, но эта передышка, этот отдых остаются физиологическими явлениями, они не перерастают в радость праздника. И со своей точки зрения антирелигиозная пропаганда, основанная на материалистическом мировоззрении, права и последовательна, отрицая праздники религиозные, и не права и не последовательна, заменяя их праздниками гражданскими. Ибо в том понимании человека, которое неизбежно при материалистическом мировоззрении, понятен, объясним и необходим только вот этот животный, физиологический ритм труда и отдыха, отдых как зарядка организма для новой работы. Каждый день нужно столько-то часов сна, каждую неделю один день, так называемый «выходной» день, каждый год нужно столько-то недель передышки. Но все это с утилитарной под-

кладкой: чтобы вернуть организму силы и его, так сказать, «производственный потенциал».

Однако и первобытный человек не просто отдыхал. Он праздновал. Это значит, что дни усилий и труда не просто упирались в сон и отдых, а как бы процветали в радостную возможность увидеть плод своих трудов, осмыслить труд, возвеселиться о нем. Через праздник и празднование труд переставал быть лямкой, борьбой за существование, безрадостной вереницей дней и ночей — он осмыслялся, он делался предметом созерцания в своих результатах, он одухотворялся и очеловечивался. Сколько бы ни пели гимнов труду, труд — это всегда работа, усилие, утомление. Но труд и утомление человек принимает и преодолевает, когда они увенчиваются не просто материальным успехом, но становятся формой свободы, радости и полноты жизни. Вот это и есть праздник в его первичной глубине: освобождение человеком самого себя от жизни как одной только необходимости, как непреложного закона.

И потому человек не просто отдыхает, но празднует. И потому в праздник и в празднование он вкладывает, в них выражает свое понимание жизни, ее цели и смысла. И потому, наконец, через праздник, вернее, через человека в празднике, через празднующего человека можно лучше всего понять смысл той или иной веры, того или иного мировоззрения. Перефразируя, можно сказать: «Скажи мне, что ты празднуешь, и я скажу тебе, кто ты...».

2

Что же празднуют христиане? Ибо если действительно человек лучше всего и чище всего выражает себя именно в праздновании, в радости, если действительно религия есть прежде всего радость о Боге и потому — праздник, то и христианство легче понять через его ра-

дость и праздники, чем через отвлеченные догматические и богословские формулы. Издревле христианство, и особенно православие, выразило и воплотило свою веру, свое миропонимание и жизнеощущение в сети праздников, которые буквально обнимают собой весь год. Можно без преувеличения сказать, что верующий живет от праздника до праздника, и эти праздники окрашивают для него все время, всю последовательность времен года — осень, зиму, весну, лето.

Нередко приходится слышать об отрицательных сторонах религиозных праздников, утверждают, что они сопровождаются пьянством, бездельем и т. д. Но сущность любого явления нужно оценивать не по извращениям, а по его прямому смыслу и назначению. И о религиозных праздниках нужно, конечно, говорить с точки зрения того, как они замыслены, как следовало бы их праздновать, и тогда уже, во имя этого положительного смысла, бичевать всегда возможные извращения и недостатки.

Нет лучшего введения в христианские праздники, чем тот праздник, который православная Церковь всегда называла «праздником праздников» и который всегда составлял особенную и ни с чем не сравнимую радость для всех верующих. Праздник этот — Пасха. Христиане приняли его от древнего еврейства, где он составлял главное религиозное событие всего года. И опять-таки, ничто лучше не вскрывает христианского смысла праздника, как связь его — и положительная, и отрицательная — с еврейским прообразом. Из Евангелия мы знаем, что Христос пострадал как раз в дни еврейской Пасхи и что совпадение это, с точки зрения Евангелия, было неслучайным. В чем же его смысл? Что праздновали евреи, и почему апостол Павел назвал Христа нашей Пасхой: «Ибо Пасха наша, Христос,— пишет он,— заклан за нас».

Отвечая на эти вопросы, мы постепенно вступаем в целое миропонимание, которое, сколь бы оно ни каза-

лось архаическим современному человеку с его технологией и утилитарным, плоским подходом к жизни, на деле соответствует чему-то вечному, неистребимому и самому важному и глубокому в человеческой душе. С этой точки зрения очень существенно понять именно постепенное развитие, нарастание и напластование смыслов в праздновании Пасхи. Первая фаза укоренена еще в кочевой жизни евреев, когда они занимались не земледелием, а скотоводством. Пасха появляется как радость о появлении новых животных. Отсюда древнейший обряд — принесение в жертву молодого барашка, проявление благодарности. Так возникает первый обряд еврейской Пасхи — жертвоприношение пасхального агнца. Следующий этап — завоевание земли Ханаанской и начало земледелия. Пасха здесь приобретает новый смысл: как праздник весеннего обновления природы, космического торжества жизни. Но все это еще только природа и жизнь человека в природе и природой. Потом появляется и разрастается третья — уже историческое измерение Пасхи. За природой — история, ибо человек живет не только в природном времени, но и во времени историческом, в процессе, осмысляющем прошлое, настоящее, будущее, наполняющем смыслом жизнь уже не только отдельного человека, но и человечества. За несколько столетий до Христа — праздник Пасхи становится для евреев ежегодным воспоминанием Исхода из Египта, сорокалетних странствий в пустыне, освобождения от рабства, вступления, наконец, в Землю Обетованную. Но все эти события, постепенно, в проповеди и в учении пророков, перерастают свой первоначальный и ограниченный смысл, расширяются до пределов некоего всемирного видения. Праздник Пасхи становится праздником, радостью человеческой истории, ее движением — от рабства к свободе, от печали к радости, от горького голода пустыни к цветущим плодам Обетованной Земли.

Так постепенно все: и природа, и история, и, наконец, надежда на наступление Царства Божьего, Царства мира и любви, свободы и счастья,— соединяется в этом одном праздновании, и Пасха становится как бы символом самой жизни человеческой в ее направленности к благу и радостному концу. Торжество весны преображает конечное торжество космоса, воспоминание о бывшем освобождении прорастает в ожидание последней и полной свободы, и вместе открывает, являет человеку конечный смысл существующего. Всем этим была, хотя бы по замыслу, хотя бы по идее, Пасха во времена Христа. И тогда понятно становится, почему Пасха оказалась в самом центре евангельской истории, почему все то, во что мы верим, когда говорим, что верим во Христа, так связано именно с пасхальными днями, ключ свой обретает в Пасхе.

Христос проповедовал Царство Божье, то самое Царство, о котором прежде всего вещала, на которое указывала и указывает человеку красота мироздания и природы; в ней, в ее весне, заложены символ и обещание какой-то последней и окончательной красоты. Он проповедовал то Царство, о котором мечтает и к которому стремится человек в истории. То Царство, наконец, в котором преодолевается страх и ужас смерти, разлучения и распада. О себе Христос учил, что в Нем, в Его жизни, особенно в Его жертвенной смерти, и совершается тот переход, а по-еврейски Пасха, которого жаждет весь мир, переход от рабства, от времени и смерти — к свободе, жизни и любви. Потому Христос и назван Пасхой, потому Его смерть в дни еврейской Пасхи как бы исполнила этот праздник, наполнила его последним и уже вселенским смыслом, потому Его воскресенье — стало центральным предметом веры и радости христианства.

По свидетельству Евангелия, Христос воскрес в первый день недели. По тогдашнему исчислению времени последним днем недели, ее увенчанием была суббота, день седьмой. Это был одновременно и день покоя, и день торжественного, радостного прославления Бога в Его творении, ибо, по рассказу первой главы книги Бытия, в седьмой день, завершив творение мира. Бог «опочил от всех дел своих». Седьмой день — и само число семь — приобрели в древней религиозной символике цифр значение полноты, завершенности, совершенства. Цифра семь — а надо помнить, что для всего древнего мира цифры имели глубокое религиозное и символическое значение — стала как бы символом этого мира как космоса, как мира, о котором создавший Его Бог сказал, что он «добро зело». Потому и время мира исчисляется цифрой семь, неделей из семи дней.

Для нашего будничного и безрадостного понимания мира и времени все эти символы кажутся какими-то детскими, наивными выдумками. Но речь идет, конечно, не о том, чтобы мы снова в них поверили, а о том, чтобы мы поняли выраженное в них мироощущение. Ведь вот мы все еще продолжаем жить в «седмичном» времени, и все попытки — самые рациональные, самые, казалось бы, правильные — заменить седмичный счет никогда почему-то не удавались. Не значит ли это, что в древнем, архаическом понимании и исчислении времени есть смысл, которого мы не понимаем только потому, что в нашей рационалистической гордыне отказываемся признать всю серьезность и глубину древнего миропонимания? А миропонимание это, в простейшем его виде, сводится к двум исконным, неистребимым измерениям или аспектам человеческого переживания и восприятия времени. С одной стороны, время самой своей «циклическостью», заключенным в нем вечным круговоротом, веч-

ным возвращением — являет как бы полное изображение, образ мира, и именно его совершенства, его полноты. Жизнь заключена во времени и в нем полностью, совершенно выражает себя: весна, лето, осень, зима; утро, полдень, вечер, ночь — все это этапы самой жизни, необходимые для ее самоисполнения. Это положительный или, говоря языком религиозным, космический смысл того времени, символом которого для древнего человека была цифра семь. Но, с другой стороны, время есть самый очевидный, неустранимый образ рабства и смертности человека и всего в мире. Из времени некуда выйти — оно, мерно отсчитывая свои сроки, ведет все, что существует, к неизбежной смерти. Это выразил Владимир Соловьев, соединив в своей знаменитой строчке понятие времени с понятием смерти: «Смерть и время царят на земле». Там, где есть время, там всегда присутствует смерть. Но время всюду, потому и смерть пронизывает собой всю его ткань. Время — образ жизни, и время — образ смерти и путь к смерти. Все это заключено в том древнем мироощущении, которое выразило свое понимание времени цифрой семь. Мир в его совершенстве и мир в его ограниченности и смертности. Радость жизни и нарастающая в ней печаль смерти.

Современные идеологи, развенчивая старые верования, презирая их с высоты своего псевдонаучного величия, думают, что нашли ответ на глубочайшее вопрошание человека: в чем же смысл этой текучести, зачем дается радость, если за ней неизбежно следует разлука, распад, исчезновение, смерть. Но на деле, конечно, они никакого ответа не дают, и то счастье, которое они обещают, все равно упирается в смерть.

Пасхальная же радость, которой на заре нашей эры христианство победило мир, была прежде всего и превыше всего ответом на извечную тоску человека, на двойственность жизни как радости и умирания. Только теперь мы можем расшифровать с виду второстепенную, но для первых христиан важнейшую деталь в Еванге-

ли: «Христос воскрес в первый день недели», то есть день, следующий за субботой и который гораздо позднее, уже при императоре Константине, в четвертом веке, заменил собою, как официальный день отдыха,— субботу, то есть день седьмой. Именно этот день, день первый, стал днем воскресения, и даже безбожникам не удалось вытравить этого названия из нашего языка. День первый нового времени, новой жизни, той, что воссияла из гроба и над которой, по словам апостола, смерть уже не имеет власти.

Надо понять и почувствовать, что христианство начинается с нового ощущения времени, с ощущения, в котором время перестает быть связанным со смертью. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?». Тут вся сердцевина, весь огонь христианской веры: смерть побеждена, смерть перестала быть безнадежной разлукой, в мире началось воскресенье. Наступил новый день, первый день нового творения, преодолевающий ограниченность времени, вносящий в него радость вечности и вечной жизни. Это и есть христианская основа Пасхи.

4

«Величай, душе моя...». Как много праздничных песнопений православной Церкви начинается этими словами, этим удивительным призывом: «Величай, душе моя...». В этих словах раскрывается глубокая и прекрасная правда, правда, прежде всего — о самом человеке. Празднование — это всегда радость о некоей духовной правде, о какой-то таинственной реальности, которая в шуме и заботах жизни совсем не видна, скрыта, и вдруг — о чудо! — раскрывается и наполняет душу радостью. Можно привести такое сравнение: человек почти всегда живет с опущенной головой. Он торопится, бежит — ему нужно смотреть под ноги, чтобы не спотк-

нуться, не налететь на кого-нибудь, не ушибиться. Человек всегда занят, всегда поглощен жизнью. Но бывает вдруг, что — в этой суете и занятости — внезапно, случайно поднимешь голову и увидишь небо. Увидишь бездонный синий свод, свет, торжественность белых облаков и почувствуешь, что над миром совершается какой-то праздник, в который нам некогда вступить, в котором некогда принять участие. Что-то совсем другое, совсем непохожее на нашу обычную жизнь, а вместе с тем к нам обращенное всем своим светом, всей своей радостью. Так вот, вера — это прежде всего именно прорыв в иное, о чем так трудно поведать обыденными словами, но что наполняет все сердце, всю жизнь неожиданной праздничной радостью.

«Величай, душе моя...». Для трезвого, рационального, позитивного человека слова эти, по всей вероятности, ничего не означают, не имеют никакого смысла. Его душа ничего и никогда не величает, и потому он даже считает, что и души-то никакой нет. Ум — да, это понятно. Ум — это то, что может высчитать, объяснить, распределить, организовать. Воля тоже не представляет особых трудностей. Но вот душа — это что такое? Но иначе и не объяснишь, иначе и не ответишь, как сказав так: душа — это способность этот тайный праздник почувствовать и воспринять, в эту радость включиться и ею осветить всю жизнь, всю ее тяжесть и хмурость. Душа — это вот это «величай, душе моя...». Люди, не понимающие и не чувствующие религии, хотят объяснить ее как-то рационально, желанием человека что-то получить, от чего-то защититься, на что-то опереться. Им все кажется, что это какая-то зависимость, недостойная человека. И как им объяснить, что это недостаток веры, а не ее сущность. Что сущность ее в другом.

Вот стоят тысячи людей часами в храме. Горят свечи. Жарко, душно. И все льется и льется один призыв, одно ликующее поздравление: Радуйся! — «Радуйся, ею же радость воссияет, радуйся, ею же скорби исчезнут,

радуйся, заре таинственного дня». Это так называемый «акафист», одна из наиболее любимых и распространенных служб православной Церкви. Тут ни просьб, ни страха, ни мольбы о помощи, и только чистое «радуйся». Точно стоят все эти люди перед чем-то несказанно прекрасным, чистым, светлым и радостным и любят его и не устают в этом любовании. Слово «любование», может быть, лучше всего и проще всего выражает самый глубокий и важный источник веры. Неверующий, позитивный, буднично-деловой человек ничем не любит, ничему по-настоящему не радуется и во всем видит, если так можно выразиться, только то, что видно земным взором. А вера начинается с ощущения, которое хорошо выразил Владимир Соловьев в своем стихотворении:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами
Только отблеск, только тени
От невидного очами.

В Евангелии Христос говорит: будут смотреть глазами и не увидят. И сколько, сколько таких людей, которые утверждают, что видят, которые изобрели тысячи точнейших аппаратов, чтобы все видеть и лучше видеть, и остаются слепцами. И не видят, и не слышат того, что вызывает это ликующее повторение: Радуйся!

«Величай, душе моя...». Да, конечно, я могу попытаться объяснить, почему я верю и как я верю и во что я верю. Тысячи богословских и философских книг написаны о вере, и у нее есть рациональные и даже научные основания. Но никакое словесное объяснение не сравнится с этим моментом на всенощной под Благовещение, когда после долгого нарастания службы раздается наконец эта долгожданная, удивительная песнь: «Архангельский глас вопиет Ти, Чистая, радуйся». Точно весь мир, со всей его мукой и страданием, со всей его усталостью и злом, с завистью, мелочностью, суетой — вдруг очи-

щается, и в нем начинает сиять какая-то действительно нездешняя весна! Что это: эмоция, надрыв, самовнушение? Нет, это прорыв в ту правду о мире, о жизни и о человеке, которую забывает человек, прорыв в правду о чистоте и первозданности души, о возможности вздохнуть всей грудью — небом, духом, любовью. Что-то открывается в этот момент такое, что с предельной несомненностью заставляет меня сказать: да, вот это — правда, вот это — красота, с которыми в мире ничего и никогда не сравнится. Это небо сходит на землю, это душа находит то, чего она — слепо и мучительно — жаждет и ищет.

Нам внушают все время, что мир постигается наукой, рассудком, расчетом. И мы не спорим против этого. На своем месте, в своих пределах наука прекрасна и необходима. Но мы говорим и свидетельствуем: есть еще и другой способ постижения мира или, вернее, еще то в мире и в жизни, что постичь наука как таковая бессильна. Есть еще мир и жизнь как объект любования и празднования, любви, благодарности и хвалы. И этот способ не менее реальный и не менее нужный, чем тот, другой, — научный. Зачем обеднять человека, зачем априори лишать его того, что действительно составляет «единое на потребу»? Во имя чего? Невольно закрадывается мысль, что вот это празднованье и любованье и ненавидят больше всего враги религии, и ненавидят не случайно, а потому что человек, способный на них, — это человек, прежде всего и превыше всего, свободный. Тот, который бескорыстно, от полноты любви и радости говорит: «Радуйся», тот, кто обращается к себе с этим удивительным призывом — «Величай, душе моя...». Как заставить его верить в ту скучную ложь о жизни, что годами плетет казенная идеология?

«И радости вашей никто не отнимет от вас», — сказал Христос. В тесноте и скорби мира тихо и невидимо совершается праздник веры. Трепещет и сияет светом душа — и наполняется небесной радостью. «Днесь весна

благоухает, и новая тварь ликует», — поется в церкви. И кто и что в мире может отнять и заглушить это ликование? В ней находит человек себя и свою бессмертную душу, и никогда для того, кто нашел свою душу, «звук небес заменить не могли скучные песни земли».

5

Праздник — всякий праздник, а особенно, конечно, религиозный — рождается из чувства свободы и одновременно выявляет, воплощает и выражает эту глубинную человеческую жажду свободы. Я говорю про свободу не внешнюю только — политическую или там свободу труда, а про ощущение самой жизни как свободы. На деле ведь, и это составляет первичный опыт человека, — все в мире, все в жизни так или иначе связывает нас, подчиняет чему-то, сковывает. Человек — раб времени, раб пространства, раб своей наследственности, своей физической конституции, климата, условий, в которых он живет, раб, наконец, неуловимого течения жизни к неизбежному концу. И чем больше человек живет, чем дальше уходит от детства, тем очевиднее становятся ему эти со всех сторон окружающие и сковывающие его границы. О, конечно, в пределах этих границ, в тесном пространстве и времени, отведенных ему, — он кое-как свободен. Но чем выше и тоньше духовный строй человека, тем очевиднее для него призрачность и ограниченность этой свободы, тем глубже его печаль, его вздох о свободе подлинной. «Всегда в темноте и всегда в тесноте, в такой тесноте и такой темноте...» — написал поэт о человеческой жизни. И только грубый, примитивный, элементарный человек, человек, живущий минутой и удовлетворяющийся низменными радостями, не чувствует глубокой правды этих строк.

Вся человеческая культура, все искусство, вся поэзия пронизаны печалью, которая составляет, по всей вероят-

жости, самое человеческое и подлинное чувство. Печаль эта именно о скованности и ограниченности жизни, о тленности и хрупкости всего в мире. Да, только в детстве не знает ее человек, но потому и представляется детство взрослому человеку, как сплошной праздник, даже самое бедное детство. Взрослым человек становится тогда, когда в нем самом начинает убывать праздник, когда легкое и радостное ощущение жизни — как открытого окна в ликующее весеннее утро, как неограниченности возможностей — сменяется ощущением жизни как темницы, тюрьмы. В человека входит вдруг печаль. И сколько бы он ни старался заглушить ее, если он правдив и честен с собой — он всегда ощущает ее в себе. И вот, только по отношению к этой печали можно по-настоящему понять самую последнюю суть христианского опыта религиозной веры. Вера зарождается именно в этой глубокой и первичной, в тонкой и высокой печали человеческой души, печали, без которой человек был бы не человеком, а животным.

Православие называет эту печаль — «печалью по Боге». Ибо действительно, если, несмотря на весь опыт своей ограниченности, хрупкости и смертности, человек все же жаждет чего-то другого, если, другими словами, этот опыт он никогда не может признать окончательным, то откуда же берется печаль? Никто другой в мире, кроме человека, ее не знает. А вот человек, сколько бы его ни убеждал опыт, все повторяет, как заклинание, — бессмертие, вечность, дух, свобода, радость. И искусство, которое отражает человеческую печаль, является носителем и выразителем мечты о чем-то несбыточном, о прорыве в то, о чем земной опыт не имеет ни малейшего представления. «Не успокоится сердце наше, — говорит блаженный Августин, — пока не найдет Тебя». Эту печаль и тоску о свободе христианство называет печалью о Боге.

В каком-то смысле христианство согласно с теориями, в которых человек признается ограниченным, детер-

минированным. Да, конечно, настоящей, подлинной свободы в этом мире, таком, как он есть, нету, и прав мудрец, называющий все это детской мечтой. Уходит детство, кончается праздник, остается глухая стена повседневной действительности. Но эта свобода есть, говорит христианство, праздник возможен и уже празднуется, и печаль ваша в радость будет. Ибо сама она есть свидетельство о Боге, о мире радости, любви и свободы, для которого создан человек и к которому, сам того часто не зная, он стремится.

«Не успокоится сердце наше...». Вот беспокойство-то это, ничем неутолимое, ничем не удовлетворимое, оно-то и есть для христиан главное свидетельство о Боге. А ведь сколько пытались его утолить: не было века или эпохи, когда кто-нибудь бы не провозглашал окончательное решение всех проблем, всех исканий человека. Вот истина, и она должна дать полную уверенность, полное спокойствие. Но на деле никогда и ничто этого спокойствия не давало. И у нас давно утверждают: истина найдена, она вся вот в этой теории, этой доктрине, пройдет еще столько-то лет — и будет построен мир, общество, система, которые дадут полное счастье человеку. Но проходят десятилетия — и мы стоим духовно у разбитого корыта: кто верит сегодня в эту мертвую доктрину? Никто.

Можно спокойно и без преувеличения сказать, что никто и ничто, кроме Бога, кроме веры, не сумел еще не то что дать счастье человеку, но по-настоящему, на глубине ответить на исконную печаль человека о подлинной жизни. А Бог и вера ответили и отвечают. Там, где человек находит Бога и когда в нем зажигается свет веры, там возвращается праздник, восстанавливается целостность, потерянная вместе с детством. Об этом и сказал Христос: «Будьте, как дети», и — «Кто не примет Царствие Божия, как дитя, тот не войдет в него». Быть,

как дети,— это и означает возврат к жизни как к радости и свободе.

—Посмотрите на святых — что больше всего поражает в них, как не радость, как не полное спокойствие в этой радости и как не та внутренняя свобода, которая дается только уверенностью в обретенной истине. И потому Церковь всегда празднует. Потому вся жизнь верующего определяется ритмом внутренней подготовки, нарастанием праздника и самим празднованием.

Печаль остается, но это печаль о том, что я не могу целиком отдаться свободе и радости: слишком еще скован собой, суетой, мелочностью, злом. Но печаль уже не отрицает праздника, а ведет к нему. Уже ни зло, и ничто не может победить и разорить того таинственного света, что зажегся в душе, той радости, которой никто не отнимет. И в конечном итоге именно этой радостью и свободой праздника, счастьем восстановленной жизни побеждает и победит вера будничную, беспраздничную, скучную идеологию и систему, которым нечего дать человеку.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА

Праздник Воздвижения Креста... Столетиями в этот день в соборах архиерей, окруженный сонмом духовенства, посередине храма, поднимал высоко над молящимися крест и осеял им все четыре стороны, а хор в это время громогласно пел «Господи, помилуй!». Это был праздник христианской империи, родившейся под знаком Креста, в день, когда император Константин увидел в видении Крест и слова: «Сим победиши...». Праздник победы христианства над царствами, культурами и цивилизациями, праздник того христианского мира, который распался, распадается на наших глазах.

Да, и в нынешнем году, как каждый год, будет совершаться этот торжественный древний обряд. И будет радостно петь хор: «Крест царей держава, крест — красота вселенной». Но вокруг храма будет греметь громадный город, безучастный к этому сокровенному торжеству, никак с ним не связанный, миллионы людей будут продолжать жить своей повседневной жизнью, волнениями, интересами, радостями, горестями, никакого отношения к тому, что совершается в храмах, не имеющими. Так как же дерзаем мы повторять эти слова победы, повторять снова и снова о Кресте, что он — не-сокрушимая победа?

Надо, увы, признать, что многие, многие христиане не знали бы, пожалуй, что ответить на эти вопросы. Многие христиане как бы привыкли к тому, что загнана Церковь на задворки жизни, изгнана из культуры, из жизни, из школы — отовсюду. Многие христиане удовлетворены тем, что им с презрением позволяют «исполнять свои обряды», лишь бы они вели себя тихо, и послушно и не мешали миру строить свою жизнь — без Бога, без Христа, без веры, без молитвы. Они, эти усталые христиане, уже почти и не помнят, что сказал Хри-

стос в ночь, когда шел Он к распятию: «В мире печальны будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир».

Но, думается мне, если мы празднуем этот праздник Воздвижения Креста, если повторяем древние слова победы и торжества, то не для того, чтобы только вспоминать победы прошлого, вспоминать то, что было и что больше нет. А для того, должно быть, чтобы поглубже вдуматься в смысл самого этого слова «победа» в христианской вере.

Может быть, только теперь, лишённые внешней силы, внешней победы, поддержки властей, неисчислимых богатств, лишённые всего того, что казалось символом, знаком победы, мы оказываемся способными понять, что, может быть, и не было все это настоящей победой.

Да, золотом, серебром и драгоценными камнями был разукрашен тот Крест, что воздвигался руками священников над людскими толпами, но ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни не способны затмить подлинный и изначальный смысл Креста: орудие позорной и мучительной казни, к которому гвоздями прибит всеми брошенный, задыхающийся от боли и жажды человек.

И будем иметь мужество спросить себя: не потому ли и погибли все эти христианские царства и культуры, не потому ли поражением обернулась победа, что ослепли мы, христиане, к последнему смыслу, последнему содержанию главного символа. Решили, что золотом и серебром можно затмить этот смысл и что все, что хочет от нас Бог,— это чтобы мы совершали поклонение прошлому.

Но почитать Крест, воздвигать его, петь про победу Христа,— не значит ли это, прежде всего,— верить в Распятого, верить, что крестный знак — это знак одного потрясающего, единственного по своему смыслу поражения, которое — только в силу того, что оно поражение, только в меру приятия его как поражения — и становится победой и торжеством.

Нет, не для внешней победы пришел в мир Христос:

Ему предложено было Царство, и Он отверг его. В момент предательства Его на смерть. Он сказал: «Неужели вы думаете, что я не мог бы умолить Отца Моего послать легионы ангелов, которые защитили бы Меня?». Но никогда не был Христос больше Царем, чем когда, окруженный злобной и улюлюкающей толпой, шел он к Голгофе, неся на плечах Крест свой. Никогда не была так очевидна царственность Его и сила, как в тот час, когда вывел Его Пилат к толпе, одетого в багряную одежду, приговоренного к смерти преступника, с терновым венком на голове, и когда сказал Пилат беснующейся толпе: «Се Царь ваш!».

Ведь только тут вся тайна христианства, и потому победа его — в радостной вере, что в этом отверженном, распятом и осужденном воссияла в мир любовь Божья, открылось Царство, над которым никто не имеет никакой власти. Только принять Христа должен каждый из нас, принять всем сердцем, всей верой, всей надеждой. Иначе все равно не имеют смысла никакие внешние победы.

И может быть, нам нужно было это внешнее поражение христианского мира, нужно было это оскудение и отвержение, дабы очистилась наша вера от всякой земной гордыни, от надежды на внешнюю силу, на внешнюю победу. Чтобы очистилось наше видение Креста Христова, который возносится над нами и над миром, даже если мы и мир не видим этого.

Возносится и побеждает, несмотря ни на что. «Крест — красота вселенной». И в каких бы ни был человек потемках, сколь внешне ни торжествует в мире зло, сердце знает и слышит: «Мужайтесь. Я победил мир».

РОЖДЕСТВО

В Евангелии не указана точная дата рождения Иисуса Христа. Не указано даже время года, и судя по тому, что в евангельском повествовании говорится о пастухах, пасущих ночное стадо, можно подумать, что событие это произошло летом. Отсюда вопрос: откуда и как возникла христианская дата Рождества — 25 декабря? Вопрос этот — не праздное любопытство. Отвечая на него, мы узнаем нечто и о сущности самой христианской веры, точнее — о понимании христианами своего отношения к внешнему, т. е. Христа еще не знающему, в Него еще не верящему миру.

Дело в том, что одновременно с распространением в начале нашей эры христианства, происходило в греко-римском мире столь же быстрое распространение последней большой языческой религии: культа солнца. В семидесятых годах III века римский император Аврелиан сделал даже эту религию солнца официальной религией всей Римской империи. Она прославляла солнце как источник жизни и потому — как высшую божественную силу. Как и все язычество, это было обожествлением природы, природных живородящих сил. Главным же праздником религии солнца были дни так называемого зимнего солнцестояния, т. е. последние дни декабря, когда после наибольшего отдаления земли от солнца снова начинается наше приближение к нему, и соответственно — возрастание тепла и света, приближение к весеннему воскресению природы и торжеству жизни над зимним умиранием. Астрономических законов вращения земли вокруг солнца, конечно, не знали еще люди той эпохи. Для них эта победа света над тьмой, это воскресение природы — было божественным чудом. А в центре чуда — солнце — источник света, источник жизни. Культ солнца и стал последней великой религией приговоренного уже к смерти язычества, а праздник зимнего солн-

цестояния в декабре — последним большим языческим праздником. Поэтому именно этот культ был для христиан главным противником и соперником, именно он дал христианству последний бой.

В начале IV века римский император Константин, сам бывший сначала солнцепоклонником, обратился в христианство. Кончилась эпоха гонений, христианская Церковь получила возможность открыто и беспрепятственно устраивать свою жизнь, строить храмы и, главное, проповедовать свободно свою веру. По вычислениям историков, в момент обращения Константина в христианство христиане составляли не больше 10% всего населения империи, причем принадлежали они почти целиком к городскому населению. Слой земледельческий был почти не затронут христианством. И стало необходимо проповедь о Христе как о Спасителе донести до этих 90%, обратить их к новой вере. А для этого нужно было победить язычество, и не внешними, принудительными мерами, а изнутри, т. е. явив человеку не только превосходство христианства над язычеством, но и заключенную в нем универсальную и спасительную истину.

Главным методом обращения и стало использование христианами самих языческих верований, их как бы «сублимация»: их очищение и наполнение христианским смыслом. В декабре язычники праздновали рождение, рождество солнца. И вот в этот день стали христиане праздновать рождество Иисуса Христа, праздновать его как рождение подлинного, духовного солнца, вхождение в мир подлинного, духовного света... Ведь вот, даже и сейчас в день Рождества Христова в главном песнопении этого праздника мы слышим: «Рождество Твое Христе, Боже наш, воссиял миру свет разума... научил нас кланяться Тебе, Солнцу правды...». Как видим, христианство приняло привычную для язычников, для всей дохристианской культуры тему солнца как света и жизни и ее сделало раскрытием веры своей во Христа. «Вы верите в солнце,— как бы сказала Церковь миру,—

но ведь само это природное, физическое солнце — символ, отблеск, орудие другого, высшего, духовного. Божественного Солнца — и в нем жизнь, свет, победа... Вы прославляете рождение солнца физического, мы зовем вас прославлять пришествие в мир Божественного Солнца, зовем вас от физического, видимого возвести ваш ум к духовному и невидимому».

Так праздник Рождества Христова стал как бы исполнением того, что праздновало язычество: праздником события, завершающего, исполняющего чаяния, ожидания, верования всех людей. Всему тому, что вкладывал человек в свое поклонение солнцу: вере человека в смысл мира, в его светоносность, в его разумность и божественность — всему этому христианство как бы дало имя — Христос. Так возник праздник Рождества Христова как одновременно и увенчание всех человеческих предчувствий и чаяний, всей неистребимой в человеке жажды смысла и добра, и в то же время — как начало новой религиозной эпохи. Эпохи уже не обожествления природы и ее слепых сил, а поклонения Тому, Кто над природой, хотя и отражен в ней. Кто — сам источник всей жизни, содержание ее и цель. Так изнутри было преодолено язычество, то есть поклонение твари, а не Творцу, так освобожден был человек от порабощения миру и природе приятием от Христа «света разума».

Свет Разума

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...». Так начинается тропарь праздника Рождества Христова с утверждения, что со Христом вошел в мир не только образ совершенного человека, но и высшее, всеобъемлющее откровение Смысла.

Свет Разума! Но именно тут ведется извечный бой против христианства и Христа, и восстают против Него

все те, кто думает, что разум у них и за ними, и что во имя разума и разумности они должны сокрушить все то, что связано с Младенцем из Вифлеемской пещеры.

Почти две тысячи лет длится этот спор. Вот приходит апостол Павел в Афины и вступает в Ареопаг, где восседают все светила науки и философии того времени, и там — в сердце античного мира — проповедует Христа Распятого и Воскресшего. И они, эту мудрецы, смеются над ним и говорят ему: «Об этом мы послушаем тебя завтра». А за ними стоит вся мощь великой Римской империи.

С христианами борются, их преследуют, их избивают, на протяжении почти двухсот лет — они вне закона, лишены, парии. Над их учением издеваются, их обряды — высмеивают, на них клеветуют.

Но среди этого мрака и злобы тот же апостол Павел пишет христианам, и так просто, так спокойно: «нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но, вот, мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем».

Проходят года. Понемногу, постепенно, философы, ученые начинают задумываться над этим учением, которое казалось им таким непонятным, нерациональным, странным. Вот, в середине второго века, философ по имени Иустин. Он провел всю жизнь в поисках истины, изучил все науки, и наконец пришел к христианству. До нас дошло его произведение. Что же привело его к этой гонимой вере и к мученической смерти? Он отвечает: «свет разума», высшая разумность, всеобъемлющая мудрость христианского Откровения. Оно, христианство, — одно отвечает на все вопросы, оно одно до конца способно удовлетворить пытливость человеческого ума и жажду человеческого сердца.

Оно есть Логос, что по-гречески значит «смысл» и «разум». А разве не сказано в Евангелии, что Он —

Логос, смысл и разум всего? Еще несколько десятилетий — и перед нами другой представитель античного Олимпа — Климент Александрийский. И к нему тоже христианская вера приходит и раскрывается как вершина разума, как предел и исполнение всех исканий, всех чаяний человеческих. И сколько их, подобных Иустину и Клименту. И, наконец, сама Империя склоняет свою гордую голову перед распятым Учителем, Которого она так долго презирала.

Начинается «христианская эра» в истории человеческого развития и культуры. И неужели можно забыть корни, из которых выросло все то, чем мы живем и дышим? Христианство входит в плоть и кровь нашей жизни, без него не понять ни искусство, ни философию, ни науку.

Но вот, в наши дни снова восстает гордыня ума человеческого против сокровищницы разума, добра и красоты. Вглядитесь в это восстание — чем оно держится? Только силой. Это ли спор и убеждение? У врагов христианства, в конечном счете, не оказывается никаких других аргументов, кроме клеветы и пропаганды.

В ответ — с такой же силой несется из храмов торжествующая песнь: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума». Так же уверенно, так же твердо исповедуем мы, что там, где есть честное искание, жажда истины и любовь к ней — они рано или поздно приводят ко Христу. «Ибо в Нем была жизнь, и жизнь была свет человекам...». «И свет, — продолжает евангелист Иоанн, — во тьме светит, и тьме его не объять».

Именно в этом утверждении, в этом исповедании — смысл праздника Рождества. Свет Разума, вошедший в мир и засиявший в нем тогда, не ушел от нас, не погас. Как далеко пошли мы в изучении мира, и вот, лучшие умы нашего времени начинают чувствовать сла-

ву Божию, свет Его разума в этом необъятном космосе, в его законах, в его красоте. Звезда, которая вела мудрецов к пещере, перестает быть умильной сказкой, мы снова слышим предвечную правду слов псалма: «Небеса поведают славу Божию, творение же рук Его возвещает твердь!». Весь мир стремится к единству, миру, любви. Но где же он найдет их? В экономике? В бряцании оружием? В соперничестве?

Все очевиднее растет тоска по чему-то, что действительно вошло бы в самое сердце как все освещающий свет жизни. Но нет у человека сердца, кроме Христа. Нет другого пути, кроме Им дарованной заповеди любви. Нет иной мудрости, нет иной цели, кроме Им возвещенного Царства Божьего, нет иного пути, кроме Им явленного совершенства: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный...».

Вот этой космической любовью, этим светом горит и сияет Рождество. Духовным слухом мы слышим все ту же торжествующую хвалу: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение». Духовным взором видим все тот же свет разума, духовным голосом отвечаем на эту радостную весть благодарной песнью: «Христос рождается — славите! Христос на земле — встречайте! Христос с небес — возносите!».

Богородица

«Отроча младо — предвечный Бог!» — этим ликующим отождествлением Младенца, родившегося в Пещере Вифлеемской, завершается одно из главных песнопений, составленных в VI веке знаменитым византийским песнописцем Романом Сладкопевцем. Вот оно в русском переводе:

Сегодня Дева рождает Того, кто вечен,
И земля пещеру приносит Непрístupному.
Ангелы с пастырями славословят,
Волхвы со звездою путешествуют,
Ибо нас ради родился ребенок — предвечный Бог!

Ребенок — Бог, Бог — ребенок... Почему даже у людей, теплохладных к вере, даже неверующих — не перестает радостно сжиматься сердце при созерцании в эти рождественские дни — единственного, несравнимого видения: молодой матери с ребенком на руках, и — вокруг них — волхвов с востока, пастырей с ночного поля, животных, неба, звезды? Почему так твердо знаем, и снова и снова узнаем мы, что нет на этой скорбной земле нашей ничего прекраснее и радостней этого видения, которое века не могли вытравить из нашей памяти?

К этому видению возвращаемся мы, когда нам некуда больше идти, когда, измученные жизнью, мы ищем того, что могло бы нас спасти. Ведь вот, в евангельском рассказе о Рождестве Иисуса Христа ничего не говорит Мать, и, конечно, ничего не говорит и Младенец — как если бы и не нужно было никаких слов, ибо никакими словами не объяснить, не определить, не передать смысла того, что произошло и совершилось тогда.

И все-таки попробуем.. Не для того, чтобы объяснять и истолковывать. Но, как сказано в Писании, «от избытка сердца глаголют уста». И невозможно человеку избытком этим не поделиться с другими.

Ибо именно в этих словах ребенок и Бог — самое поразительное откровение рождественской тайны. В некоем глубоком смысле тайна эта обращена, прежде всего, к ребенку, продолжающему подспудно жить в каждом взрослом. К ребенку, который продолжает слышать то, что взрослый уже больше не слышит, и отвечать на это той радостью, на которую наш скучный,

взрослый, усталый и циничный мир уже больше не способен.

Да, праздник Рождества Христова есть детский праздник не только в том смысле, что для детей зажигаются елки, а и в том, гораздо более глубоком, смысле, что, пожалуй, только дети не удивятся тому, что, когда приходит на землю к нам Бог, Он приходит в образе Ребенка, и этот образ Бога-Ребенка продолжает светить нам с икон, воплощаться в бесчисленных произведениях искусства, точно самое главное, последнее, радостное в христианстве заключено именно тут, в этом «вечном детстве Бога».

Взрослый, даже когда он разговаривает на «религиозные темы», хочет и ждет от религии — объяснений, анализа, хочет, чтобы все было научно, серьезно. И так же серьезно и в, конце концов, скучно рассуждает о религии и ее враг, атеист, палящий по ней из своих «научных» пушек. Нет у нас более презрительного отношения к чему бы то ни было, чем то, что выражено в словах: «Это для детей младшего возраста». Это значит — не для взрослых, не для умных и серьезных людей. Но подрастут дети и тоже станут такими же серьезными и скучными.

А Христос сказал: «Будьте, как дети». Что это значит? Чего уже обычно нет у взрослых, и, вернее, что во «взрослом» завалено, затоплено, заглушено толстым слоем его взрослости? Не прежде ли всего — свойственная детям способность восхищаться, радоваться и, главное, быть целостными и в радости, и в горе? И еще — способность доверять, отдаваться, любить и верить всем существом? И, наконец, всерьез принимать то, к чему уже не способен взрослый, к мечте, к тому, что прорывает наш будничной опыт, наше циничное недоверие, ту глубину тайны мира и всего в нем, что открывается святым, детям, поэтам.

И потому, только прорвавшись к ребенку, подспудно живущему в нас, радостная тайна пришествия к нам

Бога во образе ребенка — может стать и нашим достоянием.

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, но именно в безвластии своем оказывается он царем, именно в бессилии и в незащитности — его удивительная сила. Ребенок той далекой Вифлеемской пещеры не хочет, чтобы боялись мы Его, Он входит в наше сердце не устрашением, не доказательствами своей силы и власти, а только любовью. Как ребенок — он отдается нам, и, как ребенка, — мы можем только полюбить Его и в свою очередь отдать себя Ему.

В мире царствуют власть и сила, страх и рабство. От них освобождает нас Богомладенец Христос. Только любви, свободной и радостной, только того, чтобы отдали мы Ему наше сердце, хочет Он от нас. И мы отдаем его незащитному, до конца доверяющему нам Младенцу.

В праздник Рождества Христова являет нам Церковь радостную тайну: тайну свободной, никем не навязанной нам любви. Любви, способной и Богомладенце увидеть, узнать, полюбить Бога и стать даром новой жизни.

После Рождества

Едва только прикоснулись мы к радости Рождества, этого праздника мира и благоволения, излучающихся из образа вифлеемского Младенца, как призывает нас Евангелие быть свидетелями взрыва страшной злобы к Нему, злобы, которая уже никогда не прекратится, никогда не ослабеет. «Когда Иисус родился в Вифлееме во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился... и собрав всех первосвященников и книжников народных, спраши-

вал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано у пророка... Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушавши царя, пошли. И се — звезда, которую, видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели Младенца с Марией, Матерью Его, и падши поклонились Ему, и открывши сокровища свои, принесли ему дары: золото, ладан и смирну. И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пошел в Египет... Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Таков евангельский рассказ.

Оставим в стороне вопросы, которые рассказ этот несомненно вызывает у современного читателя: кто были эти волхвы, пришедшие с востока поклониться Христу? Как понимать о звезде, пришедшей в Вифлеем? Какие пророки возвещали о рождении Спасителя в Вифлееме? И так далее. Всеми этими вопросами много занимались ученые исследователи священного текста, и их ответы интересны. Но самое главное в этом рассказе другое. Самое главное — это реакция Ирода. Из истории

мы знаем, что Ирод, царствовавший в Палестине с ведома римских оккупантов и под их покровительством, был тираном, жестоким и несправедливым. В евангельском рассказе дается нам как бы вечный образ столкновения земной власти, не имеющей для себя другой цели, как только властвовать и всеми силами укреплять и ограждать себя,— с тем, в чем она видит себе угрозу и опасность. Как все это знакомо нам! Прежде всего — страх и подозрительность Ирода. Чем, казалось бы, угрожает ему Младенец, для рождения которого даже места другого не нашлось, как пещера? Но вот достаточно, чтобы кто-то — в данном случае это таинственные мудрецы с востока — назвал неизвестного, беззащитного, нищего ребенка царем, чтобы был пущен в ход механизм сыска, розыска, расследования и преследования. «Тогда Ирод тайно призвал волхвов...». Обязательно тайно, ибо знает этого типа власть, что действовать она может только тайно, и это значит — незаконно, несправедливо. И дальше: «Пойдите,— говорит Ирод волхвам,— тщательно разведайте о Младенце». Так и видишь наказ следователю: создать «дело», тщательно подготовить его, чтобы не было промаха в готовящейся расправе. Затем ложь: «Известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему...». Сколько видели, сколько пережили мы такой лжи, этого исподволь готовящегося удара. И, наконец, бессмысленная и кровавая расправа: чтобы уничтожить одного, убить сотни. Действовать без риска, напролом и не ради чего иного, как ради сохранения этой вожделенной власти, у которой нет никакой опоры, кроме насилия, жестокости и готовности убивать... Свет Рождества и тьма этой злобствующей власти, развращенной страхом и подозрением. «Слава в вышних Богу, на земле мир, в человецех благоволение», а с другой стороны — страшное, никогда не умирающее зловоление, мертвящее дыхание мертвой власти. Ненависть к свету, к миру, к свободе, к любви. Желание искоренить их без остатка. Отсутствие всякой жа-

лости. Что этой власти до плача и рыдания матерей, не могущих, не желающих утешиться?

Две тысячи лет прошло с тех пор. И все те же две власти противостоят одна другой на этой нашей много-страдальной земле: власть властолюбцев, слепых в своем страхе, страшных в своей жестокости, — и светлая власть вифлеемского Младенца. И как будто вся сила, вся мощь у той земной власти, у ее полиции, у ее следователей, у ее бессмертных стукачей. Но только как будто: ибо всегда стоит и светит над миром звезда, всегда сияет образ Младенца на руках у Матери. И не умолкает песнь: «Слава в вышних Богу», не умирает надежда, вера, любовь. Прошло проходит Рождество: но свет его остается с нами.

НОВЫЙ ГОД

Старый обычай: под Новый Год, когда в полночь бьют часы, — загадывать желания, обращаться к неизвестному будущему с мечтой, ждать от него чего-то нужного, заветного.

И вот опять Новый Год. Чего же пожелаем мы себе, другим, каждому, всем? Куда направлена наша надежда?

Направлена она на одно никогда не умирающее слово — счастье. С Новым годом, с новым счастьем! К каждому из нас счастье это обращено по-своему, лично. Но сама вера в то, что оно может быть, что его можно ждать, на него надеяться, — это вера общая. Когда же бывает по-настоящему счастлив человек?

Теперь, после столетий опыта, после всего того, что узнали мы о человеке, уже нельзя счастье это отождествлять с чем-то одним, внешним: деньгами, здоровьем, успехом, о чем мы знаем, что не совпадает оно с этим всегда таинственным, всегда неуловимым понятием — счастье.

Да, ясно, что физическое довольство — счастье. Но не полное. Что деньги — счастье, но и мучение. Что успех — счастье, но и страх. И поразительно то, что чем больше это внешнее счастье, тем более хрупко оно, тем сильнее страх — потерять его, не сохранить, упустить. Может быть потому и говорим мы в новогоднюю полночь о новом счастье, что «старое» никогда по-настоящему не удается, что всегда чего-то недостает ему. И уже опять вперед, с мольбой, мечтой и надеждойзираем мы...

Боже мой, как давно сказаны евангельские слова о человеке, который разбогател и построил новые амбары

для своего урожая и решил, что все у него есть, все гарантии счастья. И успокоился. А ему в ту же ночь было сказано: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»

И, конечно, здесь, в этом подспудном знании, что все равно ничего не удержать, что впереди все равно распад и конец,— та отравя, что отравляет наше маленькое и ограниченное счастье. Наверное, потому и возник обычай — под Новый Год, как начинают бить часы в полночь,— шуметь, кричать, наполнять мир грохотом и шумом. Это от страха — услышать в тишине и одиночестве бой часов, этот неумолимый голос судьбы. Один удар, второй, третий, и так неумолимо, ровно, страшно — до конца. И ничего не переменить, ничего не остановить.

Так вот эти два подлинно глубокие, неистребимые полюса человеческого сознания: страх и счастье, ужас и мечта. То новое счастье, о котором мы мечтаем под Новый Год, это — счастье, которое до конца усмирило бы, растворило и победило страх. Счастье, в котором не было бы этого ужаса, гнездящегося где-то на глубине сознания, и от которого мы все время ограждаем себя — вином, заботами, шумом,— но чья тишина побеждает всякий шум.

«Безумец!». Да, по существу, безумна неумирающая мечта о счастье в страхе и смерти пораженном мире. И на вершине своей культуры человек это знает. Какой горестной правдивостью и печалью звучат слова великого жизнелюбца Пушкина: «на свете счастья нет». Какой высокой печалью пронизано всякое подлинное искусство. Только там, внизу, шумит и горланит толпа и думает, что от шума и мутного веселья придет счастье.

Нет, оно приходит только тогда, когда правдиво, мужественно и глубоко вглядывается человек в жизнь, когда снимает с нее покровы лжи и самообмана, когда смотрит в лицо страху, когда, наконец, узнает, что счастье, подлинное, прочное, неумирающее счастье,— во

встрече с Истиной, Любовью, с тем бесконечно высоким и чистым, что называл и называет человек Богом.

«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И в жизни этой — свет, и тьме его не объять». И это значит: не поглотить страхом и ужасом, не растворить в печали и отчаянии.

О, если бы люди в своей суетливой жажде мгновенного счастья нашли в себе силу остановиться, задуматься, взглянуться в глубину жизни! Если бы слышали они, какие слова, какой голос вечно обращены к ним на этой глубине. Если бы знали они, что такое — подлинное счастье.

«И радости вашей никто не отнимет от вас!..». Но разве не о такой радости, которой уже нельзя отнять, мечтаем мы, когда бьют часы?.. Но вот — как редко доходим мы до этой глубины. Как почему-то боимся мы ее, и все откладываем: не сегодня, а завтра, послезавтра я займусь главным и вечным. Не сегодня. Есть еще время. Но времени так мало! Еще немного — и подойдет стрелка к роковой черте. Зачем же откладывать?

Ведь вот тут, рядом, стоит Кто-то: «Се стою у двери и стучу». И если бы не боялись мы взглянуть на Него, мы увидели бы такой свет, такую радость, такую полноту, что наверное поняли бы, что значит это неуловимое, таинственное слово счастье.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

1

...Что для нас теперь вода? Одно из необходимых удобств жизни, доступное, механизированное, дешевое. Открыли кран, и вот она бежит... Но для того, чтобы понять, почему тысячелетиями именно вода была одним из главных религиозных символов, нужно восстановить в себе утраченное нами почти без остатка чувство космоса. Ибо вода для древнего человека была не чем иным, как символом самой жизни, и мира — как жизни... И действительно: вода есть условие жизни. Можно долго не есть, но без воды человек умирает, и, следовательно, он есть существо жаждущее. Без воды невозможна чистота — и, следовательно, она есть символ чистоты и очищения. Жизнь, чистота, но также красота, сила и мощь водной стихии, отражающей в себе, как бы впитывающей в себя бездонную синеву неба. Вот то ощущение или переживание воды, что поставило ее в центр религиозных представлений человека.

Войдите в храм в канун Крещения, когда совершается «великое водоосвящение», вслушайтесь в слова молитв и песнопений, всмотритесь в обряды, и вы почувствуете, что здесь не один древний чин, а нечто, говорящее и теперь, как тысячу лет назад, о нашей жизни, о нашей жажде, о нашей вечной и неизбывной тоске по очищению, возрождению, обновлению... Вода — как в первый день творения, про который сказано в Библии: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». И вот раздаются слова хвалы и благодарения: «Велий еси, Господи, чудны дела Твоя и ни едино же слово будет довольно к пению

чудес Твоих...». Снова начало. Снова стоит человек перед тайной бытия, снова радостно ощущает мир и его красоту и слаженность — как Божий подарок и снова благодарит. И в этом благодарении, хвалении и радости — становится по-настоящему человеком.

Радость праздника Крещения — в космическом переживании мира, в вере, что все и всегда можно вымыть, очистить, обновить, возродить, что как бы ни была загрязнена и замутнена наша жизнь, в какое бы болото мы ни превращали ее, возможен этот очищающий поток воды живой, ибо не умерла и не может умереть в человеке жажда неба, добра, совершенства, красоты, жажда, которая одна по-настоящему и делает его человеком. «Велий еси, Господи, и чудны дела Твоя и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих...».

Кто сказал, что христианство уныло, загробно, печально, что оно уводит человека от жизни и принижает его? Посмотрите, каким светом и радостью сияют лица людей, когда гремит ликующий псалом «Глас Господень на водах», когда священник кропит освященной водой храм и летят, как бы по всему миру, эти сверкающие брызги, и мир снова становится возможностью, обещанием, материей таинственного чуда претворения и преображения.

Сам Бог в образе человека вошел в эту воду, соединил себя не только с человеком, но и со всей материей, всю ее сделал светлой и светоносной, всю — направленной к жизни и к радости. Всего этого нельзя ни пережить, ни почувствовать без покаяния, без того, что по-гречески называется «метания», без глубокой перемены сознания, без обращения ума и сердца, без способности вдруг все увидеть в новом свете. Именно такое покаяние проповедовал Иоанн, и оно сделало возможным увидеть и с любовью принять в образе Иисуса, идущего к Иордану, — самого Бога, от века возлюбившего человека и весь мир сделавшего для него образом своей любви, вечности, радости.

«Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимская, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса, и Духа как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», — пишет евангелист Марк.

Таким образом, Иоанн не только призывал к раскаянию, но еще и утверждал, что его проповедь есть как бы приготовление к пришествию кого-то другого, сильнейшего, Того, кто будет крестить не просто водою, а таинственно, Духом Святым. И вот этот сильнейший, как назвал его Иоанн, приходит и сам крестится от Иоанна, и в это некое таинственное явление как бы удостоверяет правду пророчества Иоанна: да, это тот самый, чье пришествие я вам возвещал...

Как видим, в этом коротком евангельском рассказе соединено и сплетено много тем, много нитей. Прежде всего, Иоанн и его проповедь покаяния и крещения. Иоанн принадлежит к числу тех духовных людей, чье назначение — явить данному обществу в определенный момент неправду, ложь и зло, которыми общество это пропитано и отравлено. Вызвать, говоря современным языком, духовный и нравственный кризис, заставить людей увидеть зло и ужаснуться ему, и захотеть осво-

бождения от него. Именно освобождение, коренное изменение жизни означает крещение, погружение в воду, которая есть одновременно и символ, и источник жизни, а также сила очищающая и возрождающая. Таким образом, из Евангелия следует, что в момент пришествия Христа, к началу его проповеди общество, в котором начнется Его служение, переживало вот такой духовный и нравственный кризис, кризис покаяния и жажды обновления. Второе, на что нужно указать в евангельском рассказе,— это заключенное в нравственном кризисе ожидание какого-то решительного события, пришествия кого-то, кто как бы восполнит, завершит дело Иоанна, его крещение претворит в таинственное крещение Духом Святым. От других евангелистов мы знаем, что ожидание это было ожиданием Христа, то есть обещанного Богом Спасителя, о котором возвещали ветхозаветные пророки. Об этом прямо говорит другой евангелист, Лука: «..Народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне — не Христос ли он...». Таким образом, пришествие Иисуса Христа к Иоанну на Иордан есть явление Обещанного и Возвещенного, или, иными словами, завершение и исполнение всех пророчеств о Спасителе. Об этом же свидетельствует третий евангелист, Матфей: «Иоанн,— пишет он,— удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду...».

Третье: крещение самого Иисуса, погружение Его в иорданскую воду рукою Иоанна. Ведь если Он — Спаситель, то зачем Ему крещение? Этот символ раскаяния и жажды очищения? И однако, на сомнения Иоанна Иисус отвечает твердым требованием крещения, и Иоанн крестит Его. И вот Церковь веками как бы всматривается в снисшествие Того, в Кого она верит как Спасителя и Бога, в смысл этого снисшествия для мира, для человека, для каждого из нас.

И наконец, четвертое и последнее: то, что последовало немедленно вслед за погружением в воду, в прикровенных, образных словах описанное таинственное явление голубя, спускающегося на выходящего из воды Иисуса, голос с неба, эти слова Евангелия: «И се, отверзлись ему небеса!». Как видим, не одна, а по меньшей мере четыре темы, четыре «измерения» этого евангельского события соединены в радостном празднике Крещения Господня.

3

Почему же захотел, почему потребовал от Иоанна крещения Иисус? Сын Божий, пришедший в мир исцелить грех своей безгрешностью, приобщить человека к божественной жизни! Этот вопрос был, как мы знаем из Евангелия, и в сердце самого Иоанна: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?».

Вот ответ Церкви: принимая крещение Иоанново, Христос отождествляет себя со всеми людьми, всеми — без единого исключения — грешниками, нуждающимися в прощении, спасении, возрождении. Отождествляет себя со всеми и с каждым из нас. Своим крещением Он свидетельствует, что пришел не для того, чтобы судить и осуждать, не для того, чтобы извне, с высоты своего совершенства и Божества дать нам закон и правила, а для того, чтобы соединиться с нами, чтобы, став одним из нас, сделать нас участниками своей совершенной и безгрешной жизни. «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира», — говорит про Него Иоанн Креститель. В наш мир Христос вошел как младенец, и в своем рождении Он принимает на Себя, свою делает нашу человеческую природу. Сын Божий становится Сыном Человеческим. Но не для праведников, а для грешных и погибающих пришел Он на землю, их возлюбил Он своею жертвенной любовью, им отдает себя и всю свою

жизнь. И вот в Крещении Иоаннове Он, безгрешный,— с нами, грешными. Он, Спаситель,— с погибающими, ибо никакой грех не может преодолеть любви Бога к человеку. Он соединяется с грешным человечеством, как позднее, в конце, Он, бессмертный, вольно соединится с человеком и в смерти.

Все это свидетельствует о том, что Христос хочет спасти нас любовью и только любовью, а любовь — это всегда и прежде всего соединение с тем, кого любишь. Как сказано у пророка Исаяи: «Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, и раною Его мы исцелили...».

Но есть и второй смысл, еще более глубокий, еще более радостный в крещении нашего Господа и Спасителя в струях иорданских. Вот после крещенской службы выходим мы, верующие, на водоосвящение. Раздаются торжественные, ликующие слова псалма: «Глас Господень на водах...», и раскрывается нам смысл и значение воды как образа жизни, как образа мира и всего творения. И вот в эту воду спускается, в нее погружается, с нею соединяется пришедший в мир — для его спасения и возрождения — Бог. Мир оторвался от Бога, забыл Его, перестал видеть Его и погрузился в грех, темноту и смерть. Но Бог не забыл мира и вот возвращает его нам, сияющий звездной славой и первозданною красотой. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». В этом мире все, включая саму материю, самое вещество его, становится снова путем к Богу, общением с Ним, возрастанием в этой живой и вечной жизни. Пришествие Бога к своему творению празднуем мы в радостный и светлый день Богоявления. «И се, отверзлись Ему небеса...».

Мы не знаем, что точно ощутил Иоанн, когда трепетной рукой прикоснулся к Спасителю, как увидел это отверстое небо, какой голос услышал. Но был несомненно этот момент ослепительного света, когда все вспых-

нуло и загорелось радостью первозданной красоты, когда мир открылся как мир Божий, очищенный, омытый, возрожденный, наполненный хвалы и благодарения. «Христос приходит обновить всю тварь». Обновление празднуем мы, когда видим священника, кропящего храм новой, святой и божественной водой, кропящего затем нас, наши дома, всю природу и весь мир. Когда видим людей, устремляющихся к этой живой воде, льющейся к жизни вечной.

Итак, всякий жаждущий да приходит к Нему и получает дар воды живой, дар новой, чистой и возрожденной жизни.

СРЕТЕНЬЕ¹

Спустя сорок дней после Рождества, празднуется в наших храмах праздник Сретенья, праздник Встречи. Праздник этот как бы полузабытый, ибо часто падает он на рабочий день. А между тем в день этот завершает Церковь «время Рождества», являет нам во всей полноте его и источает чистую и глубокую радость.

Праздник посвящен воспоминанию и духовному созерцанию, которое находим мы в Евангелии от Луки. В нем повествуется, что через сорок дней после рождения в Вифлееме Иисуса Христа, согласно религиозному обычаю того времени, Иосиф и Мария «принесли Младенца в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем».

«Тут был в Иерусалиме,— продолжает Евангелие, человек именем Симеон. Он был праведный и благочестивый... и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к откровению язычников и славу народа Твоего Израиля».

«Иосиф же и Матерь Его удивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: вот лежит этот на падение и на восстание мно-

¹ Написано о. Александром за две недели до смерти.

гих и в предмет пререканий. Тебе же самой орудие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец...».

Как необычен, как прекрасен этот старец с ребенком на руках, как странны слова его: «Вот, видели очи мои спасение Твое...». Мы вслушиваемся в эти слова и постепенно начинаем постигать глубокий смысл события, его отношения к нам, ко мне, к нашей вере.

Что на свете радостнее встречи, «сретенья» с тем, кого любишь? Действительно, жизнь есть ожидание. Но тогда не символ ли это высокого и прекрасного ожидания, не символ ли это длинной человеческой жизни? Этот старец, всю жизнь ожидавший такого света, который озарил бы все, такой радости, которая все наполнила бы собою?

И как удивительно, как несказанно хорошо, что свет и радость, что ответ дан был старцу Симеону через Младенца.

Когда представляешь себе эти дрожащие старческие руки, принимающие любовно и осторожно сорокадневного, глаза, устремленные на это маленькое существо, и все заливающую хвалу: «...теперь Ты можешь отпустить меня с миром. Я видел, я в своих руках держал, я обнимал то, что заключает в себе сам смысл жизни». Он ждал. Он ждал всю свою длинную жизнь. И не значит ли это, что он думал, молился, углублял это ожидание, так что наконец вся его жизнь стала одним и тем же кануном радостной встречи.

И не пора ли спросить себя: чего же жду я? О чем все сильнее напоминает мне сердце? Преображается ли постепенно эта моя жизнь в ожидании встречи с главным? Вот вопрос Сретения. Здесь жизнь человеческая явлена как прекрасное созревание души, все более и более свободной, все более глубокой, все более очищенной от всего мелочного, суетного, случайного. Тут само старение и увядание, земной удел каждого из нас, показано так просто и убедительно — как рост и подъем

До того последнего мига, когда от всей души, в полноте благодарности, я говорю: «Ныне отпускаеши». Я видел свет, пронизывающий мир. Я видел Младенца, который несет в мир столько Божественной любви и отдает Себя мне. Нет страха, нет неизвестности. Есть только мир, благодарность и любовь.

Вот что приносит с собою праздник Сретения Господня. Праздник встречи души с Любовью, встречи с Тем, Кто дал мне жизнь и силу преображать ее в ожидание.

ЗАКХЕЙ

За целый месяц до начала Великого Поста православная Церковь начинает возвещать его, готовить нас к нему. И как трудно человеку понять, что наряду с бесчисленными заботами жизни есть вот эта забота о душе, о нашем внутреннем мире. Если бы мы были немножко серьезнее — мы поняли бы, насколько важна, насущна, первостепенна именно эта забота. Мы поняли бы тогда эту медленность, этот таинственный ритм церковной жизни.

Мы знаем, конечно, какое значение имеет для нашей жизни пища. Это полезно, а это вредно, это тяжело, это опасно. Мы прилагаем усилия, чтобы применить эти знания, сделать пищу полезной. Но ведь это не просто поповская риторика — сказать, что душе нужна пища, что «не единым хлебом живет человек». Это знает каждый из нас: нужно и почитать, и подумать, и поговорить, и развлечься. Но как здесь оказывается мало заботы, мало внимания, мало элементарнейшей гигиены. Мы ищем чтения полегче, болтовни, а не разговора, развлечения, а не питания. Мы не знаем, что душу гораздо легче засорить, чем желудок, и что последствия засорения души гораздо опаснее. И много времени уходит на «внешнее», мало — на внутреннее.

Но приходит то время года, когда Церковь призывает нас вспомнить, что есть оно, это «внутреннее», что есть «внутренний человек», когда она приглашает нас ужаснуться тому, как мы забыли о нем, в какую бессмысленную чепуху погрузились, как убиваем драгоценное время, так скупо отпущенное нам, в какой неяршливой и мелкой путанице живем.

Пост — это время покаяния, а покаяние — это переосмотр, переоценка, углубление, встряска, «оборот на

себя». Покаяние — это горестное открытие своего запущенного, забытого и загрязненного «внутреннего» человека.

Первая весть о Песте, первое напоминание — это маленький рассказ из Евангелия. Рассказ о ничем не значительном человеке, да притом еще маленького роста и полупочтенной профессии. Имя этого человека Закхей. Профессия — сборщик налогов, занятие, которое в ту эпоху и в той среде, о которых повествует Евангелие, было связано с взяточничеством, с жестокостью и нечестностью. Рассказ очень короткий. «Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он? Но не мог за народом, потому что был мал ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраамов. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».

Закхей захотел увидеть Христа, и захотел так сильно, что этим желанием привлек к себе внимание Иисуса. Вот это захотел и есть начало всего. Евангелие говорит: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Все в нашей жизни начинается с хотения, с желания. Ибо то, чего мы хотим, то, значит, мы и любим — то изнутри влечет нас к себе и подчиняет себе. Закхей, мы знаем, любил деньги и, по его собственному признанию, для достижения их не брезговал обидеть других. Закхей был богат — и любил богатство. Но

Закхей внутри себя нашел и другое желанье, он захотел другого,— и это хотение стало судьбоносным моментом его жизни.

Этот рассказ Евангелия к каждому из нас обращает вопрос: что ты любишь, чего ты хочешь? Не на поверхности, а на глубине. Через твой город и по твоей улице не проходит таинственный учитель, и толпы народа не окружают его. Но так ли? Не проходит ли около твоей жизни все время некий таинственный призыв, не чувствуешь ли ты иногда где-то на самом дне души тоску по другому, не тому, чем с утра до вечера наполнена твоя жизнь? Остановись, вслушайся в себя, войди в свое сердце, послушай своего внутреннего человека. И ты найдешь там — внутри себя — это же самое странное и чудесное желание, без которого не живет ни один человек, но которое почти каждый человек, словно боясь его, заглушает шумом и суетой «внешнего». «Се стою у двери и стучу», — сказано в Новом Завете. Услышишь ли ты этот тихий стук? Вот первый призыв Церкви, Евангелия, Христа: захоти другого, вздохни другим, вспомни о другом. И только на миг стоит вслушаться в этот призыв, как словно ветер — чистый и радостный — врывается в спертый воздух наших безрадостных жизней, и начинается этот медленный возврат. Желание. Вздох души. И все становится — уже стало — иным, новым, бесконечно значительным. Маленький, пригнутый к земле и к ее желаниям человек перестает быть маленьким, начинается его победа над самим собой. Вот начало, вот первый шаг — от внешнего к внутреннему, в сторону той таинственной родины, по которой, так часто сам того не зная, тоскует и которой желает всякий человек.

МЫТАРЬ И ФАРИСЕИ

Одна из главных, единственных в своем роде особенностей Евангелия,— это те короткие рассказы-притчи, которыми пользуется Христос в своем учении, в своем общении с народом. Поразительно же в этих притчах, что сказанные почти две тысячи лет тому назад, в совершенно отличных от наших условиях, в другой цивилизации, на абсолютно другом языке, они остаются актуальными, бьют сегодня в ту же цель. А это значит — в наше сердце.

Ведь вот, устарели, забыты, канули в небытие книги и слова, созданные совсем недавно, вчера, позавчера. Они уже ничего не говорят нам, они мертвы. А эти, такие простые с виду, бесхитростные рассказы живут полной жизнью. Мы слушаем их — и как будто что-то происходит с нами, как будто кто-то заглянул в самую глубину нашей жизни и сказал что-то — только к нам, ко мне относящееся.

В этой притче — о мытаре и фарисее — рассказывается о двух людях. Мытарь — это славянское слово для обозначения сборщика налогов, профессии, окруженной в древнем мире всеобщим презрением. Фарисей — это название правящей партии, верхушки тогдашнего общества и государства. На нашем теперешнем языке мы сказали бы, что притча о мытаре и фарисее — это символический рассказ о важном представителе ведущего слоя, с одной стороны, о мелком и малопочтенном «аппаратчике», — с другой. Христос говорит: «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, гра-

бители, обидчики, прелюбодеи или этот мытарь. Пошусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдаль, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне грешному!». Говорю вам,— заканчивает Христос эту притчу,— что мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Всего три строчки в Евангелии, а сказано в них нечто вечное, такое, что действительно относится ко всем временам и ситуациям.

Но возьмем только наше время, возьмем самих себя. Если что-нибудь лежит в основе нашей государственной, общественной, да, наконец, и частной жизни, так это — не правда ли? — вот это самое безостановочное самопревозношение, самоутверждение, или, говоря более древним, но опять-таки вечным языком — гордыня. Вслушайтесь в пульс нашей эпохи. Неужели не поразился мы этой чудовищной саморекламе, хвастовству, бесстыдству самовосхваления, которые так вошли в нашу жизнь, что мы уже почти не замечаем их.

Всякая критика, пересмотр, переоценка, всякое проявление смирения — не стали ли они уже не только недостатком, пороком, а, хуже того,— общественным и даже государственным преступлением. Оказывается, любить родину — это все время бесстыдно восхвалять ее, унижая чужие родины. Оказывается, быть лояльным — это провозглашать все время безгрешность власти. Оказывается, быть человеком — это унижать, топтать других людей, это возвышать себя путем их унижения. Проанализируйте свою жизнь, жизнь своего общества, самые основы его устройства, и вы должны будете признать, что это именно так. Тот мир, в котором мы живем, так пронизан оглушительным и грубым бахвальством, что уже сам этого больше не замечает, оно уже стало его природой. Да так и сказал один из самых больших и тонких поэтов нашего времени — Па-

стернак — в знаменитой своей строчке: «...все тонет в фарисействе».

Самое страшное, конечно, в том, что фарисейство признается добродетелью. Нас так долго, так упорно глушили славой, достижениями, взлетами и полетами, нас так долго держали в атмосфере этого призрачного псевдовеличия, что все это в действительности нам стало казаться хорошим и благим, что в душе целых поколений возник образ мира, в котором только сила, только гордость, только бесстыдное самовосхваление оказываются нормой.

Пора ужаснуться этому, вспомнить слова Евангелия: «всякий, возвышающий себя, унижен будет». Сейчас тех немногих, кто исподволь, шепотом говорят об этом, напоминают об этом,— влекут в суды или заключают в психиатрические лечебницы. И на них науськивают других: смотрите на этих изменников и предателей! Они против величия и силы своей родины! Против ее достижений! Они сомневаются в том, что самая лучшая, самая сильная, самая свободная, самая счастливая страна... и так дальше. И благодарите, что вы не такие, как эти несчастные отщепенцы.

Но пойдем, что этот бой, этот спор, ведомый сейчас ничтожным меньшинством, это бой и спор о самих духовных источниках жизни. Ибо фарисейская гордыня — это не только слова. Она рано или поздно оборачивается ненавистью к тем, кто не согласен признать моего величия, моего совершенства. Она оборачивается преследованьем и террором. Она ведет к смерти. Притча Христа ножом врезается в самую страшную опухоль современного мира, в опухоль фарисейской гордыни. Ибо, пока эта опухоль будет расти, в мире будут царить ненависть, страх и кровь. И так оно и есть сейчас. Только вернувшись к этой забытой, презираемой, отбрасываемой силе — к смирению,— можно очистить мир. Ибо смирение — это признание другого, это уважение к другому и это умение мужественно при-

знать себя несовершенным, раскаяться, и тем самым встать на путь исправления. От бахвальства, лжи и тьмы фарисейства — к свету и целостности подлинной человечности: к правде, к смирению и к любви. Вот призыв этой притчи Христовой, вот зов, первый зов великопостной весны...

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

Вот еще одна притча Христова, записанная в Евангелии от Луки: «У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: «Отче! Дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он стал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился: и побежав, пал ему на шею и целовал его... Сын же сказал ему: Отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите: и станем пить и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и призвав одного из слуг, спросил: Что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что пришел здоровым. Он осердился и не захотел войти. Отец же его, вышед, звал

его. Но он сказал в ответ отцу: Вот сколько лет служу тебе, и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое — твое; а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Притча эта читается в церкви, когда начинают готовить себя верующие к Великому посту, то есть ко времени покаяния. И может быть нигде лучше не раскрывает нам Евангелие, в чем сущность покаяния. Блудный сын ушел в дальнюю сторону, во «страну далече». И вот эта «дальняя сторона», эта чужбина и являет нам глубокую сущность нашей жизни, нашего состояния. Только поняв это, мы можем начать возврат к подлинной жизни. Тот, кто хотя бы раз в жизни не почувствовал этого, кто никогда не осознал себя духовно на чужбине, отделенным, изгнанным, тот не поймет, в чем сущность христианства. И тот, кто до конца «дома» в этом мире, кто не испытал тоски по иной реальности, не уразумеет, что такое покаяние и раскаяние. Ибо оно не в формальном перечислении своих недостатков, ошибок и даже преступлений. Нет, раскаяние и покаяние рождается из опыта отчуждения от Бога, от радости общения с Ним. Сравнительно легко признаться в своих ошибках и недостатках. Но насколько же труднее вдруг узнать, что я разрушил, предал, утерю свою духовную красоту, что я так далеко от моего настоящего дома, от моей настоящей жизни; что нечто бесценное, чистое и прекрасное разрушено, разбито в самой ткани моей жизни. Однако именно это и есть раскаяние, и потому оно необходимо включает в себя глубокое желание возвратиться, вернуться, снова найти утерянный дом. Внезапно я начинаю постигать, что одарил меня Отец мой небесный бесценными сокровищами: прежде

всего, самой жизнью и возможностью подлинно наслаждаться ею, и это значит: претворять ее в смысл, в любовь, в знание. В Сыне своем Иисусе Христе — даровал Он мне жизнь новую, открыл мне свое вечное Царство, радость и мир в Духе Святом.

Я получил знание Бога, и в этом знании — силу быть сыном — свободным и любящим — Бога. Все это я потерял, от всего отрекся, не только в отдельных «грехах» и «прегрешениях», но в грехе всех грехов: в уходе во «страну далече», в этом избрании чужбины, отрыва, ухода...

Но вот вспомнил блудный сын. Вспомнил Отца и отчий дом и утерянную радость жизни. И встал и вернулся. И принял и простил его Отец. В эти предшествующие посту воскресенья поем мы в церкви: «На реках вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая Иерусалим...». Поем псалом изгнания и отчуждения, но и раскаяния, любви и возврата. О, если бы могли мы пробиться сквозь суету жизни к этой памяти сердца и души, знающих, что не в том наша жизнь, не так мы живем. Знающих таинственной памятью, помнящих об утерянном Отчем доме и радости жизни.

«Встану и пойду...». Как просто и как трудно. Но только от этих простых слов зависит все. В моей жизни и в жизни окружающего меня мира. Только от подлинного раскаяния, от этого просветления ума, сердца и души, узнающих одновременно и тьму, и горечь, и печаль нашей падшей жизни, и свет Божественной любви, готовой в любое мгновение наполнить ее.

ПРИТЧА О СТРАШНОМ СУДЕ

Христос сказал: «Когда придет Сын Человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престол славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и разделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал Я и вы дали Мне есть; жаждал и вы напоили Меня; был странником и вы приняли Меня; был наг и вы одели меня, был болен и вы посетили Меня; в темнице был и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим и накормили? Или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли? Или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. Ибо алкал Я и вы не дали мне есть; жаждал и вы не напоили Меня; был странником и не приняли Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! Когда мы видели тебя алчущим или жаждущим или странником или нагим, или больным или в темнице и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам — так как вы не сделали одному из сих меньших, то не сделали это Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Притча эта — «О Страшном Суде», как издревна

называют ее христиане,— читается за неделю до Великого поста, когда призывает нас Церковь проверить себя, свою совесть, свою жизнь всей полнотою христианского благовестия, то есть учения Христа, и, по возможности, вернуться к главному, к самой сердцевине этого учения.

Многим часто кажется, что главное в религии — это обряды и обычаи, красота богослужения, возможность прикоснуться к священному, небесному, божественному. Но притча Христова о последнем суде раскрывает нам, что все это будет бесплодным и ненужным, будет пустой и мертвой религией, если не будет основано на любви и не будет приводить к любви.

В конце концов и судить нас будет Любовь. И не любовь вообще, не любовь к абстрактному, отвлеченному человечеству, нет, а любовь к живому и конкретному человеку. В наши дни христианская любовь страшно искажена. Во имя любви к отвлеченному человечеству нас призывают не любить и преследовать других людей, которых нам приказывают считать врагами и в отношении которых даже жалость и сострадание оказываются преступлениями. Но Христос в притче о Страшном Суде как бы говорит: мечты о счастье отвлеченного человечества не только останутся мечтой, но и обернутся ненавистью и жестокостью, если сначала не обратим мы нашу любовь и заботу на каждого человека. И любовь не отвлеченную, заботу не теоретическую, а самую что ни на есть конкретную. «Я был в темнице,— говорит Христос,— я был голоден, я жаждал, я болел...». И что же это значит, если не то, что Христос раз и навсегда отождествил себя с каждым человеком и что потому христианская любовь и состоит в этой «невозможной возможности» — в каждом увидеть, осознать, встретить Христа.

Нам не заповедано спрашивать и анализировать — достоин ли человек нашей помощи, заслужил ли он нашу заботу. Нам не сказано — узнавать, за что посажен

он в темницу, и почему голоден, и почему наг. Нам сказано идти к нему с любовью, и только в этой любви, никогда не спрашивающей о заслугах, достоинствах, взглядах и убеждениях,— встречать человека, Богом посланного в нашу, в мою жизнь...

Снова и снова узнаем мы главную, радостную тайну христианства — тайну личности, составляющей Божественную ценность каждого человека, то, что и нужно и можно любить в нем. Именно эту тайну отверг и продолжает отвергать мир и господствующие в нем идеологии. Для них человек определяется внешним: своей классовой, или расовой, или национальной принадлежностью, своей полезностью для отечества, своими заслугами или — напротив — ошибками и преступлениями. Свои, чужие... Союзники, враги... Мы, они...

И вот все как будто только и делают, что говорят об освобождении человека, о счастье человека, о назначении человека, о борьбе за светлую, счастливую и свободную жизнь. А на деле — все объединены против кого-то, все движется только страхом, подозрительностью, ненавистью. И так оно и будет, пока не поймут люди, что любить человечество, служить человечеству — не только неверно, но и невозможно, если не укоренена эта любовь в любви к человеку, к каждому... И именно в любви, то есть в признании его, вне зависимости от каких-либо наших земных, «человеческих, слишком человеческих» мер и категорий, к которым мы сводим и которыми оцениваем людей. Все это осуждено раз и навсегда Тем, Кто сказал и говорит от имени каждого: **Я** был в темнице... И этого **Я** достаточно, чтобы знать, что каждый человек — брат, что к каждому пришел и каждого любит Бог, и в каждом дана мне возможность исполнить самого себя в Божественной, возрождающей и спасающей любви.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Последний день перед Великим постом всегда назывался в быту «Прощеным воскресеньем». В этот день читаются в церкви слова Христа: «Если вы не простите от сердца прегрешений друг другу, и Отец ваш небесный не простит вам прегрешений ваших». Вечером же, в самый канун поста, совершается в церквях обряд взаимного прощения, так что вступаем мы в пост, в период очищения, углубления, освящения нашей жизни примиренными друг с другом.

Совість есть та таинственная глубина нашего сознания, из которой приходит к нам раскаяние и страстное желание очищения, возрождения, исправления. Именно раскаяние, этот голос совести, и приводит нас, как к первому шагу на пути очищения, к желанию простить и быть прощенным, вот к этому самому «прощеному» воскресенью. Почему?

Почему именно прощение и жажда прощения с такой очевидностью входят в нас одновременно с пробуждением совести как первое ее требование, обращенное к нам? Да потому, конечно, что совесть и являет нам самую сущность зла и неправды как разделения, как вины перед другими. Достоевский устами старца Зосимы сказал: «Каждый перед всеми во всем виноват...». С первого взгляда эти слова кажутся нам не только каким-то нестерпимым преувеличением, но и попросту — абсурдом.

В чем же я виноват перед другими? — как бы обиженно и надменно спрашивает наш разум, наше «внешнее» сознание. Что же касается «морали», то она, пожалуй, согласится признать, что да, кое в чем, перед кем-то я действительно провинился, но — тут же успо-

коительно прибавляет она — разве без этого прожить?

Оставим разум его недоумению, оставим даже и мораль ее объяснениям и оправданиям. Послушаем совесть — там, глубоко-глубоко внутри нас, где тихий, но такой твердый, такой беспощадный голос говорит: виноват. В чем эта вина? Нет, не в одних обидах и ссорах, действительно, пожалуй, неизбежных. Не в поверхностных пререканиях, не в мелочных раздражениях. Нет, эта вдруг ставшая для меня такой очевидной вина в другом: в самой моей жизни, насквозь пронизанной себялюбием, и это значит — сосредоточенной на мне самом, и это значит — отдаленной от «другого», от «других», превратившихся только в средство. Даже когда мы любим — любовь эта изнутри отравлена, искалечена «самостью», как если бы и в любви мы хотели любимого только для себя. Совесть, только совесть вдруг с беспощадной ясностью являет нам весь мир как борьбу всех со всеми, как постоянную «самозащиту», и потому «нападение», как арену животной борьбы каждого за то, чтобы выжить. Мы думаем, что враждуют, ненавидят, проливают кровь — другие. Государства, народы, правительства. Но посмотрим в себя — и мы в себе найдем первоисточник того разделения, той борьбы всех со всеми, в которой проходит и на которую уходит вся жизнь. Только ощутив, осознав это — начинаем слышать мы внутренним слухом правду слов Достоевского: «Каждый перед всеми за все виноват», как и правду других слов, еще до Достоевского сказанных святым Серафимом Саровским: «Спаси себя — и спасутся вокруг тебя тысячи...».

Спаси себя: но это и значит — спаси себя, прежде всего, от этого изначального порабощения разделению, от этой внутренней отделенности от жизни, от людей, от ведомого или неведомого состояния борьбы, в котором живем мы.

Простить, быть прощенным! Ведь это и есть поворот

от разделения к единству, от вражды к любви, от отдаленности к соединению. Ибо простить — это не просто. Как мы часто говорим — «перестать обращать внимание» на недостатки других, или, еще хуже, — «махнуть рукой» на других. Это ли не равнодушие, не презрение, не цинизм. Простить и быть прощенным может только тот, кто вдруг со всею силой осознал весь ужас отсутствия в мире любви, всю бездонную печаль того одиночества, на которое в своем самоутверждении и себялюбии обрек себя человек. Все это выражается, все это звучит в той молитве, с которой обращается Церковь в Прощенное воскресенье: «Не отвори лица твоего от отрока твоего, яко скорблю...».

Вот она — та светлая печаль, которой одной постигаем мы наконец и корень, и сущность, и силу зла: холод сердец, иссякание любви, торжество в мире одинокого и на одиночество обреченного самоутверждения. Мольба о прощении, жажда быть прощенным... Как маленький ребенок, провинившийся перед матерью, тоскует о потерянном рае и любви, так и каждый из нас узнает, что с этого обращения души, смягчения сердца, с этой жажды примирения начинается в нас разрушение зла. И потому сколь бы ни было все это далеко нашей холодной, жестокой жизни, в которой силой навязанный «коллектив» не преодолевает, а усиливает одиночество каждого, сколь не было бы все это чуждо самому духу нашего времени — только тут — в силе совести, в жажде прощения и в обращении души — начало нашего духовного возрождения.

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА

1

Для подавляющего большинства верующих людей Великий Пост — это прежде всего короткая молитва, известная под именем молитвы Ефрема Сирина, одного из восточных христианских учителей IV века нашей эры. Молитва эта повторяется в конце каждого великопостного богослужения, верующие читают ее дома, в частной своей молитве. Про нее можно сказать, что она лучше всего, проще и короче всего выражает смысл и дух того, что христиане вот уже столетиями называют Великим Постом.

«Господи и Владыка живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Старые слова. Древние славянские формы. Но попробуем пробиться сквозь этот пласт древности, попробуем пробиться к смыслу и к сущности. Так вот лет 50—60 тому назад ученые-специалисты научились снимать пласты пыли и копоти с древних русских икон. И то, что казалось темным, таким темным, что знаменитый русский писатель Розанов назвал даже свою книгу о православии «Темный лик»,— вдруг засияло и загорелось такими поразительными красками, такой радостью, таким светом, что все наше представление не только об иконах, но о самом духовном стиле и тоне православия, всей древнерусской религиозности изме-

нилось коренным образом. «Взыгранье красок» — так был определен этот стиль.

То же самое можно и нужно сделать не только с иконами, но и с другими основными выражениями веры и религии. Враги хотят загнать ее в музей, отождествить в сознании людей с древностью, с отжившими идеями и чувствами, показать ее ненужность. Но так ли это? Вернемся к молитве святого Ефрема Сирина. Вслушаемся в эту простейшую просьбу человека, осознавшего вдруг неправду своей жизни и то, что эту неправду составляет: «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми». Вот первое — не дай мне, ограда, защити, избави меня. От чего? От таких с виду простых недостатков, такой, казалось бы, мелочи. Дух праздности. Какая же, скажет современный человек, у нас праздность, когда каждый из нас изнемогает от работы, когда ритмы и темпы жизни ускоряются, когда немного праздности и есть, казалось бы, то, что нам больше всего нужно. Но слово «праздность» совсем не означает безделья и физического отдыха. Слово «праздный» означает, прежде всего, пустой. От духа пустоты избави меня. И вот сразу нам указана самая страшная болезнь человеческого духа: пустота. Да, мы работаем, мы спешим, мы суедемся буквально день и ночь, но в чем же сущность, в чем смысл всей этой спешки и суеды? Не бывает ли так, что мы вдруг на минуту как бы останавливаемся, и вот — тишина вокруг нас, и так ясна становится пустота и бессмыслица нашей жизни. Есть страшный в своей правдивости и простоте стих поэта: «Жизнь прошумела и ушла». И, быть может, мы оттого и глушим себя работой, может быть весь мир вокруг нас так шумит и грохочет, что все хотят скрыть от себя, от других эту бездонную пустоту. Во имя чего? Куда? Для чего? «Жизнь прошумела и ушла...». И вот, углубляясь в себя и вглядываясь в этот — такой короткий — дар жизни, мы просим спасти и защитит нас, избавить от первоосновы всякого зла:

от пустоты, бессмыслицы, от страшной опустошенности души, в которой мы так часто пребываем...

«От духа праздности, уныния...». За праздностью и пустотой, как неизбежный результат, следует уныние. Почему все учителя духовной жизни, все мудрецы, задумывавшиеся над природой человеческого духа и сознания, самым страшным грехом, самым непоправимым злом в человеке всегда считали именно уныние? Что такое уныние? Разве каждому из нас не знаком этот странный упадок душевной энергии, эта ничем не объяснимая грусть, что внезапно пронизывает собой все кругом, и самый сияющий и лучезарный день становится ненужным, пустым, никчемным? Мы говорим тогда: «опускаются руки...». В душе воцаряются сумерки. Это и есть уныние. Хорошо, если мы вовремя спохватимся, соберем с силами. А то ведь попросту заглушим это уныние чем попало — работой, опьянением, чем угодно... Но оно вернется, оно всегда где-то здесь, выжидает удобной минуты, грозит из-за угла. Оно вернется потому, что каждый человек какой-то самой последней, скрытой частью своей души знает, хотя и скрывает от себя, — бессмыслицу жизни, упирающейся в смерть. «Мы все спрашиваем, спрашиваем, — писал Гейне, — пока комок земли не заткнет нам горло, — но разве это ответ?». И когда это знание пробивается наружу — сквозь шум и суету жизни — какой бессмыслицей кажется все кругом, какой именно суетой — ненужной и бесплодной. И вот отсюда эта мольба: избави нас от уныния. И это не беспомощность, не страх, как думают враги религии, — это единственное достойное человека: взглянуть этому унынию прямо в глаза, не прятаться от него, но искать его преодоления...

«Дух праздности, уныния, любоначалия...». Молитва переходит к другой плоскости человеческого существования, к другому «ключу» его трагичности. Любоначалие — это не просто любовь к власти, к начальствованию над другими. В таком — простом и чистом —

виде любоначалие встречается, может быть, не так уж и часто. Но в другой, гораздо более глубокой форме оно свойственно каждому из нас и составляет источник страшной неправды человеческой жизни. Любоначалие — это отношение к другому человеку с точки зрения пользования им. Это, иными словами, внутреннее подчинение всех и всего себе, рассматривание всех и всего только с точки зрения моей пользы, моих интересов, меня — как высшей и единственной ценности.

2

Празднословие может показаться таким маленьким, таким незначительным недостатком. Ну что в этом такого уж страшного? Болтовня, красное словцо, пусто-словие... Все мы люди, все мы человеки, все этим погрешаем, и уж несомненно есть грехи куда более страшные. Так нам кажется, так все мы привыкли думать. Но в Евангелии сказано: «За каждое пустое слово даст ответ человек». И мы начинаем задумываться, так ли все просто и невинно с этим «празднословием»?.. Каждый из нас, если бы он только вдумался не в отвлеченные теории, а в свою собственную жизнь, если бы он хорошенько припомнил ее, то тотчас же убедился бы в том, что слова, — слова, сказанные им или сказанные ему — наверное, принесли ему в жизни больше всего страдания, испортили больше всего крови, отравили больше всего минут, часов и дней. Клевета, донос, предательство, измена, ложь, сплетни — все это страшные явления, и все они совершаются посредством слова и только слова, и этого одного уже достаточно было бы, чтобы почувствовать его страшную силу.

Действительно, им, словом, выражается и создается добро, красота, мудрость. Но им же добро, красота и мудрость разрушаются. Слово может отравить душу, наполнить ее подозрением, страхом, злобой, ненавистью,

цинизмом. И, конечно, не только в личной, частной жизни. Мы живем в эпоху действительно космического празднословия. Газеты, радио, книги, школы — все это орудия, все это — чуть ли не символы одного грандиозного, сплошного, непрекращающегося «празднословия», долженствующего забить наши головы, наполнить их чужими идеями, заставить нас думать так, как этого желают так называемые «властители дум». Можно без всякого преувеличения сказать, что мир болен, отравлен «празднословием», которое в конечном счете есть всегда ложь.

Христианство считает дар слова высшим, действительно божественным даром, данным человеку. Оно противопоставляет человека как существо словесное — существам бессловесным. Оно самого Бога называет Словом и говорит про Него в Евангелии: «В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог». Но именно потому, что христианство так высоко ставит слово, наделяет его такой великой творческой силой, оно с таким ужасом воспринимает пустое слово — «празднословие» — эту измену слова самому себе, когда из орудия добра и света оно становится орудием зла и тьмы... «За каждое пустое слово даст ответ человек». И еще: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься...».

Каждый из нас дал бы дорого, чтобы вот это слово, отравившее жизнь, оказалось никогда не сказанным...

Все это нужно вспомнить и почувствовать, чтобы понять — почему, наряду с праздностью, унынием и любоначалием, молитва св. Ефрема Сирина ставит, как один из четырех главных грехов, как одно из основных зол — «празднословие». «Дух празднословия не даждь ми...».

С очищения слова, с восстановления его в его первоначальной силе начинается очищение и возрождение жизни. Мы говорим: «взвешивать каждое слово». Да, имен-

но взвешивать. Но взвешивать не только на весах осторожности, пользы и расчета, но на весах правды, добра и истины.

3

Словами молитвы св. Ефрема Сирина мы просим о том, чтобы Бог даровал нам дух целомудрия, дух смиренномудрия, дух терпения и дух любви. Остановимся на каждом из этих понятий, в которых христианский духовный опыт издревле видит первооснову и источник добра, подобно тому, как в отрицательных прошениях великопостной молитвы видит и знает он, этот опыт, основу греха и зла. Дух целомудрия. Слово «целомудрие» — одно из самых глубоких, самых прекрасных слов на языке человеческом — понемногу как бы «выдохлось» или во всяком случае сузилось в своем значении. Для подавляющего большинства оно стало означать почти исключительно половую чистоту, стало противоположностью половой распущенности, разврата. Но изначальный смысл слова «целомудрие» неизмеримо шире и глубже. Ключ к этому смыслу в двух понятиях, соединенных в нем воедино: «целостность» и «мудрость» — «целомудрие». Можно сказать без всякого преувеличения, что слово «целомудрие» — одно из самых христианских слов, так как в нем выражено нечто для христианства самое главное, самое существенное. Выражено понимание, опыт добра, доброй, праведной и подлинной жизни, как именно целостности, и потому мудрости. Целостность — это то, что противостоит злу, которое всегда распад, разделение, разложение изначальной целостности, и потому — уход от мудрости. Поэтому дух целомудрия — это та целостность, вне которой ничто другое невозможно. Это возврат к жизни как целостности. Это радость вновь обретенной целостности, то есть мира и гармонии ду-

ши, ума, сердца, тела, радость мудрости, радость «целомудрия».

За целомудрием следует «смиреномудрие». И опять, заметим, не просто «смирение», а «смиреномудрие», ибо и слово смирение, как и целомудрие, можно понимать по-разному. Оно может иметь как бы «рабий оттенок», выражать презрение человека к самому себе как к человеку, а следовательно и к человеку вообще. «Я — маленький, гаденький, слабенький...». Нет, все это самоунижение ничего общего не имеет с христианским смирением. Христианское смирение укоренено в сознании, в ощущении бесконечной глубины жизни, это смирение от трепета, от мудрости, от постижения, это смирение — подлинно от Бога. Именно падший человек испытывает постоянную потребность гордыни, самопревозношения, самоутверждения, потребность в них, как в плотной дымовой завесе, скрывающей от других людей да и от него самого его недостатки. Подлинному добру, подлинной мудрости, подлинной жизни — гордыня не нужна, так как им нечего скрывать, и потому они смиренны. Христос, сын Божий, говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я смирен сердцем». И потому так же, как в целостности, в смирении раскрывается, сияет, побеждает подлинная мудрость: смиреномудрие...

За целостностью и смирением — дух терпения. Почему так высоко ставит его христианство, в чем добродетель терпения? Вопросы эти важны потому, что все враги христианства и религии в вину религии ставили прежде всего проповедь терпения. Проповедуя терпение, обещая за терпение здесь — награду там, вы, религиозники, отвлекаете человека от борьбы за свое освобождение, вы примиряете человека со злом и несправедливостью, вы делаете его послушным рабом. В том-то и дело, однако, что совсем не о таком терпении идет речь в великопостном прощении. Тут терпение — это проявление веры, доверия, любви, это тер-

пение — как раз обратное тому, в котором человек как бы махнул рукой на все и говорит себе: «Остается только терпеть». Нет, терпение — это, прежде всего, сам Бог, который «не махнул на нас рукой», но продолжает верить нам, верить в нас, и потому терпение в нас — тоже только от веры, что добро сильнее зла, любовь сильнее ненависти, и, наконец, жизнь сильнее смерти... Вот об этой Божественной добродетели, Божественном даре терпения мы и молимся, чтобы не дрогнуть в нашем доверии, не сдаться внутри себя равнодушию, презрению, «маханию рукой...».

Последний дар — последнее прошение — дух любви даруй мне, рабу твоему. В сущности, вся молитва подводит к этому прошению и в нем как бы исполняет себя. Ведь если мы просим об освобождении от праздности, уныния, любоначалия и празднословия — то все это помеха любви, это то, что не пускает любовь в наше сердце. А целомудрие, смиренномудрие, терпение — это основа, это корни, это прорастание любви. И потому, когда, наконец, падает нам как бы с самого неба это слово любовь, мы уже знаем, что любовь не только от Бога, но любовь — это сам Бог, вступающий в наше сердце, очищенное, украшенное целомудрием, смиренномудрием и терпением, готовое к тому, чтобы стать храмом, присутствием, светом Божией любви, ее всепобеждающей силы.

4

Произносишь слово «смиренномудрие» — и сразу чувствуешь, до какой степени чуждо оно духу современности. Какое там смиренномудрие, какое там смирение, когда вся жизнь теперешняя построена на одном сплошном самолюбовании и самовосхвалении, на пафосе внешней силы, величия, могущества и так далее. Этот дух самовосхваления сверху донизу пронизывает собою

не только политическую и государственную жизнь, но и личную, профессиональную, общественную, то есть буквально все проявления жизни.

Мы учим детей чем-то гордиться, но редко себя и их призываем к смирению. Более того, одним из главных обвинений, постоянно предъявляемых религии со стороны воинствующего безбожия, является как раз обвинение в том, что религия учит смирению и призывает к нему как к главной христианской добродетели. Религия — по утверждению безбожников — проповедует рабство, покорность, унижает и умаляет человека и его достоинство, ибо она вся построена на смирении. Но удивительно, во всех этих обвинениях никто и никогда не объясняет — что же такое смирение? Чему учит христианство, когда говорит о смирении? Почему, в каком смысле смирение унижает человека? Вот Христос говорит про себя: «Я кроток и смирен сердцем». Однако вряд ли кому придет в голову сказать, что это свидетельство равнодушия Христа ко злу, Его слепого подчинения кому бы то ни было, страха перед сильными мира сего. Ведь вот стоит Он перед Пилатом и говорит ему — так просто: «Ты не имеешь надо мною никакой власти». По-видимому, есть смирение и смирение, и прежде чем обличать его, нужно договориться — о каком смирении идет речь.

Что же такое христианское смирение? Прежде всего, это, конечно, чувство правды, и правды, в первую очередь, — о самом себе. Правда же никогда не унижает и не умаляет, а возвышает и очищает. Смирение, далее, есть честность в правде. Это — отказ от всякого приукрашения самого себя, это отвращение от пыли, пускаемой в чужие глаза... Смирение — это, наконец, знание своего места, своих возможностей и ограничений, это мужественное принятие себя таким, каков я есть... Вот почему, подобно целомудрию, смирение есть начало мудрости, и мы просим в молитве дарования нам смиренномудрия.

Только тот, кто не лжет, не преувеличивает, не хочет «казаться», вместо того, чтобы «быть», а спокойно, трезво и мужественно принимает и делает свое дело, только тот обладает мудростью. И, конечно, с этой точки зрения христианство, проповедуя смирение, не умаляет, а возвышает и главное — уважает человека. Ибо только тот нуждается в самовосхвалении, кому не хватает чего-то, только уроду нужно приукрашать себя, только слабый постоянно похвально своей силой. Там, где есть свобода, там не нужна пропаганда, где есть подлинная сила — там не нужны угрозы, где есть подлинная красота, там не нужна «убогая роскошь наряда». И потому смиренномудрие — это то, чего так не хватает современному миру и современному человеку, то, о чем, сам того не зная, но изнемогая в море лжи и самовосхваления, он тоскует больше всего...

За смиренномудрием в молитве св. Ефрема Сирина следует терпение. И опять мы наталкиваемся тут на одно из главных обвинений против религии. Проповедуя терпение, она де подрывает в человеке способность к протесту, к борьбе, к защите своих прав, к стремлению к лучшему, более справедливому миру. Тут, однако, опять лучше всего обратиться ко Христу. Да, он учит терпению — «терпением спасайте души свои». Но то, что Христос называет терпением, так же далеко от карикатуры на терпение в безбожных брошюрках, как христианская любовь к ближнему — от той любви к дальнему и безличному коллективу, во имя которого миллионы людей сегодня лишены свободы. В основе христианского терпения совсем не равнодушные ко злу, а, как это ни странно звучит, — очень активное чувство доверия к человеку. Сколько бы человек ни падал, ни предавал лучшее в себе, христианство призывает нас верить, что не это — не зло, не падение — сущность человека. Оно верит, что человек всегда может подняться, вернуться к своей светлой сущности...

В конце концов, терпение — это вера в силу добра. И наконец, мы просим в молитве св. Ефрема Сирина — духа любви. Любовь — это завершительный аккорд молитвы. Она одновременно и скрытый двигатель нашей жизни, и цель ее. Все ею живет, все к ней направлено, и ею узнаем мы, что Бог есть Любовь.

КРЕСТОПОКЛОННАЯ

В субботу на третьей неделе Великого Поста, с незапамятных времен, выносятся на середину церкви крест, и вся следующая, четвертая неделя называется Крестопоклонной. Мы знаем, что Великий Пост — это подготовка к Страстной седмице, когда вспоминает Церковь страдания, распятие и смерть на кресте Иисуса Христа. Таким образом, вынос креста напоминает нам о цели нашей собственной усиленной, углубленной религиозной жизни в эти великопостные дни. В связи с этим уместно вспомнить о месте креста, этого главного, высшего символа в христианской вере.

Символ этот имеет два тесно связанных одно с другим значения. С одной стороны, — это крест Христов, это то решающее событие, которым завершается земная жизнь и служение Иисуса Христа. Это рассказ о странной и страшной ненависти людей к Тому, кто все свое учение сосредоточил на заповеди любви, всю свою проповедь — на призыве к самоотречению и жертве во имя этой любви. Пилат, римский губернатор, к которому привели арестованного, избитого, заплеванного Христа, говорит: «Человек этот никакого зла не сотворил». Но это вызывает еще более сильный взрыв: «Распни, распни Его!» — вопит толпа. Так вот, крест Христов — это вечный вопрос, обращенный к самой глубине нашего сознания: почему добро вызывает не только сопротивление, но и ненависть? Почему оно всегда распинается в мире? Мы обычно избегаем ответа на этот вопрос, возлагая вину на кого-то другого. Вот если бы мы, если бы я был там в ту страшную ночь, я не поступил бы так, как все прочие. Но, увы, где-то в глубине совести мы знаем, что это не так. Мы знаем, что мучили, распинали, ненавидели Христа не какие-то изверги,

специально, особо злом одержимые люди. Нет, в сущности, это были люди, «как все». Пилат даже попытался защитить Иисуса, уговорить толпу. Пилат даже предложил толпе по случаю праздника отпустить Христа на свободу. Пилат, перед лицом толпы, умыл руки, показывая тем, что он не согласен с этим убийством. Несколькими штрихами Евангелие рисует нам этого бедного Пилата — его испуг, его чиновничью совесть, его трусливый отказ поступить по совести.

Но разве не совершается то же самое и в нашей, и в окружающей нас жизни? Разве это не самая обычная, самая типичная из всех историй? Разве не присутствует Пилат в каждом из нас все время? Разве, когда приходит час сказать решительное, бесповоротное нет неправде, несправедливости, злу и ненависти — мы не сдаемся на этот соблазн «умыть руки»? За Пилатом — римские воины, солдаты. Но ведь и они могут сказать в свою защиту: мы только исполняли приказание начальства. Нам было сказано «обезвредить» какого-то бродягу, производящего волнения и беспорядок. О чем же тут разговаривать? За Пилатом, за воинами — толпа, то есть те, что всего за шесть дней до этого восторженно встречали Христа, вступавшего в Иерусалим, и кричали «Осанна...». А вот теперь: «Распни Его!». Но разве не объяснили ей, этой толпе, вожди, учителя, авторитеты, что человек этот — преступник, нарушающий законы и обычаи, и потому по закону (всегда по закону, всегда по соответствующей статье), — должен умереть... Итак, каждый из участников этого страшного дела был «по-своему» прав, так как имел оправдание. А все вместе убили человека, который «ни единого зла не сотворил».

И потому первый смысл креста — это смысл его как суда над злом, или, еще вернее, над тем псевдодобром, в которое в мире сем вечно рядится зло и которое обеспечивает злу его страшную победу на земле.

Отсюда же — второй его смысл. За крестом Христо-

вым — наш, мой крест, тот, о котором сказал Христос: «Кто не берет креста своего каждый день...». Это значит, что выбор, перед которым в ту ночь стояли все: — и Пилат, и воины, и вожди, и толпа, и каждый человек в этой толпе, — что выбор этот всегда, каждый день ставится перед каждым из нас. Внешне это может быть что-то, кажущееся нам не очень важным, второстепенным. Для совести, однако, нет первичного или второстепенного. Есть только правда и неправда, добро и зло. Взять каждый день свой крест — это не просто терпеть тяготы, бремя жизни. Это прежде всего жизнь в согласии с совестью, это жизнь в свете суда совести.

Вот и сейчас — перед лицом всего мира берут человека, который «ни единого зла не сотворил», и мучают, и бьют, и сажают в тюрьму или ссылают. И все по закону, все по послушанию и по дисциплине, все во имя порядка, на благо всех. И сколько пилатов умывают руки, сколько воинов спешат исполнить воинскую дисциплину и сколько людей послушно, подобострастно улюлюкают, в лучшем случае же молча смотрят на это торжество зла.

Вынося крест, поклоняясь ему, целуя его, вспомним, о чем он. Что говорит нам, к чему призывает? Вспомним о кресте как о выборе. О выборе, от которого все зависит в мире и без которого все в мире — торжество тьмы и зла. «На суд пришел Я в мир сей», — сказал Христос. На этом суде — суде распятой любви, правды и добра — стоит каждый из нас.

ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О СМЕРТИ

В дни, когда приближается Пасха, мысль почти невольно сосредотачивается на теме, которую так упорно замалчивает антирелигиозная пропаганда, но которая не может не стоять так или иначе в центре человеческого сознания,— на теме смерти. Для христиан Пасха — это праздник победы над смертью. «Смертию смерть поправ». В эпоху внешнего торжества христианства, в эпоху, когда Пасха была как бы самоочевидным средоточием года, а ее радость и ликование — главной радостью людей, этот праздник, его смысл можно было не объяснять. Но для современного человека, не знающего или плохо знающего, что происходит в пасхальную ночь, не испытавшего этого странного, радостного удара в сердце, когда из темной глубины раздается первое «Христос Воскресе», Пасха перестала, конечно, быть тем, чем она была веками, а именно — доказательством, свидетельством, символом действительного преодоления тьмы, печали и безнадежности смерти.

Антирелигиозная пропаганда любит утверждать, что одним из источников религии является страх смерти, что именно боясь смерти люди изобрели идею бессмертия души, загробного мира, вечности и так дальше; на самом же деле ничего этого, конечно, нет, и с физической смертью человек исчезает совсем, абсолютно, превращается в ничто.

Меня всегда удивляло ожесточение и необъяснимое вдохновение, с которыми антирелигиозная пропаганда, если так можно выразиться, борется за это ничто. Выходит так, что это — очень хорошо, просто замечательно, что человек растворяется в ничто, а что, напротив, вера в вечность и бессмертие почему-то вредны и с ними нужно всеми силами бороться. Ведь, казалось бы,

даже если действительно можно доказать, что смерть есть абсолютный конец, что после нее ничего нет и быть не может,— радости в этом, в конце концов, мало. Вот жил человек, учился, страдал, вдохновлялся, любил,— и все кончено, как будто его и не было. И потому, казалось бы, эта вечная, неистребимая мечта человека о бессмертии, эта потребность в бессмертии хороша, высока, заслуживает уважения. Но нет! Ничто, по-видимому, так не ненавидит антирелигиозная пропаганда, как идею бессмертия, веру в вечность человека.

Но вдумаемся в эту тему по существу. Прежде всего, религии нечего краснеть от упрека в том, что ее занимает смерть, и даже от обвинения, что она родилась из страха смерти. Смерть для человека есть слишком важное явление, чтобы можно было о нем не думать, чтобы можно было делать вид — как это и делает антирелигиозная пропаганда,— что тут, дескать, думать не о чем, а гораздо важнее вопросы очередной пятилетки и ширпотреба. Страх смерти присущ человеку, есть часть его человечности, потому что человек инстинктивно ощущает некое страшное, можно даже сказать,— потрясающее несоответствие между опытом своего я и сознанием, что это я должно умереть, кончиться. Ведь сколько бы ни твердили мне, что смерть есть самое что ни на есть естественное явление, самоочевидный закон природы, мое я чувствует, что смерть для него, для этого я, не только не естественна, но противоестественна, и это несоответствие рождает страх. Страшно все то, что странно и неестественно. И сколько бы нам ни говорили о натуральности смерти, страх, связанный с нею, лучше всего показывает, что тут все не так просто и не так ясно.

Всего естественного человеку естественно хотеть. Но вот смерти, исчезновения, растворения в ничто — «черной бани с пауками», как говорил Достоевский, раковинного гула небытия — никто не хочет. Смерть остается всегда и всюду некоей тайной, в которую чело-

век, поскольку он — человек, а не машина, не робот, не муравей, не может не вглядываться и не вдумываться. И попытки попросту снять эту тему, заменить ее экономическими или политическими рассуждениями, не только неудачны, но и свидетельствуют о плоскости и ограниченности. И когда пропаганда призывает страх смерти преодолевать заботой о будущих поколениях и об их счастье, то она как будто не понимает, что призыв этот удивительно глуп. Ибо если считать источником трагизма в человеке именно сознание своей смертности, то трагизм этот останется и в будущем, каково бы ни было внешнее материальное счастье пресловутых будущих поколений. Если человек обречен на ничто, если конец каждого человека (а ведь никакого человечества нет, есть только люди), если конец его — ничто, то позвольте спросить: почему этот ужасающий абсурд становится менее абсурдным от того, что в будущем будет, допустим, больше справедливости и лучшее отопление в домах? А ведь ничего другого не обещают все философии, все идеологии, основанные на отрицании бессмертия и вечности.

Но уж тогда гораздо последовательнее и честнее проповедники так называемого «экзистенциализма», которые так просто и начинают с утверждения абсурдности и бессмысленности человеческой жизни. Тогда, конечно, в словах Льва Толстого — «и после глупой жизни настанет глупая смерть» — больше правды, чем в бесконечной суете дешевых идеологий будущего счастья.

Все это приводит нас к простому утверждению: смерть для человека — это предельно важный предмет размышленья и осмысленья. В каком-то глубоком смысле вся жизнь человека — это решение вопроса о том, как жизнь относится к смерти, о смысле этого таинственного конца. И глубина религии в том, что она этой теме не обходит. Но антирелигиозная пропаганда скрывает от людей настоящее религиозное ученье

о смерти, особенно же христианское ученье. Она отождествляет его с первобытным и примитивным «анимизмом» и, главное, скрывает, что настоящее христианское вдохновенье — не в примирении со смертью, а в борьбе с ней и победе над ней.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Великий Пост завершается в Церкви двумя лучезарными, праздничными днями, лучше сказать — неким двуединым, двухдневным праздником. Это Лазарева суббота — день, когда вспоминаем мы воскрешение Христом его умершего друга Лазаря, и — Вербное воскресенье, когда мы празднуем торжественный вход в Иерусалим, совершенный Христом за шесть дней до предания его на страдания и крестную смерть. Словно прежде, чем вступить в печаль и тьму этих страстных дней, прежде чем еще раз стать свидетелями страданий Христовых, являет нам Церковь подлинный смысл вольной Христовой жертвы, спасительной Его смерти.

Христос был далек от Иерусалима, когда умер Лазарь, и только спустя четыре дня пришел Он в Вифанию и встретился с сестрами Лазаря Марфой и Марией и с плачущими и скорбящими его друзьями. И вот в Евангелии от Иоанна подробно рассказывается об этой встрече. Сначала разговор с Марфой и Марией. Обе говорят Христу: «Господи! Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой...». И Христос отвечает: «Воскреснет брат твой!». И все же, несмотря на этот ответ, когда увидел Он сестер плачущих и пришедших с ними плачущих иудеев, Он «Сам,— пишет евангелист Иоанн,— воскорбел духом и возмутился»... И вот подходит Он к могиле и Сам плачет, и окружающие говорят: смотри, как Он любил его. Христос приказывает снять камень, лежавший на гробнице. И когда сняли камень, Он, по словам евангелиста, «воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон... И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами...».

В чем смысл этого события, которое так светло, так радостно, так победно празднует Церковь в Лазареву субботу? Как совместить печаль, слезы Христа и эту

силу воскресить мертвого? Всем своим празднованием Церковь отвечает на этот вопрос: Христос плачет потому, что в этой смерти своего друга Он созерцает торжество смерти в мире, смерти, которой Бог не сотворил, но которая воцарилась и царствует в мире, отравляя жизнь, претворяя всю ее в бессмысленное чередование дней, неумолимо стремящихся к пропасти.

И вот этот приказ: «Лазарь, иди вон!» Это чудо любви, торжествующей над смертью, это вызов смерти, это — объявление ей войны Христом, это утверждение, что разрушена, умерщвлена должна быть сама смерть. И для того, чтобы разрушить смерть и ее тьму, сам Христос — и это значит сам Бог, сама любовь, сама жизнь — сойдет во гроб встретиться со смертью лицом к лицу, и разрушит ее, и дарует нам вечную жизнь, для которой создал нас Бог. И на следующий день вступает Христос в Иерусалим. Но вступает не так, как Он вступал часто и раньше: неузнанный, неизвестный, непризнанный. Нет, теперь Он, который никогда не искал ни власти, и славы, Сам как бы готовит свое торжество. Он приказывает своим ученикам привести молодую ослицу. Он садится на нее и вступает в город, предшествуемый толпой, детьми с пальмовыми ветвями в руках. И эта толпа и эти дети приветствуют Его древним приветствием, с которым обращались только к царю: «Осанна! Благословен приходящий во имя Господне! Осанна в вышних! И потрясся весь град...», — пишет евангелист. Эта толпа, эти пальмовые ветки, это гремящее царское приветствие, эта ликующая радость — что значит все это? И почему каждый год мы вспоминаем это событие с такой же радостью, словно мы сами стоим на улице святого города и ждем, и встречаем, и ликуем, и повторяем все те же слова, все то же вечное «Осанна»? Это значит, что, пускай только в одном далеком от всех нас городе, — но Христос был царем, царствовал, был признан народом как царь! Да, Он учил о царстве Божьем, о будущем своем воцарении. Но вот в тот день, за шесть дней преж-

де Пасхи, Он явил свое царство на земле, открыл его людям, призвал их, а с ними и всех нас, стать гражданами этого царства Христова, подданными этого смиренного царя, царя без земной власти и без земного могущества, но всеильного любовью.

Мы живем в мире, в государствах, отрекшихся от Бога, занятых только самими собой, дрожащих за свою власть, силу, могущество, победы. И почти нет в этом мире места Божьей любви, Божьему свету, Божьей радости. Но вот, в этот единственный день в году, когда стоим мы в переполненных храмах и поднимаем вербу, и гремит опять это царское *О с а н н а*, — мы говорим себе, и говорим миру, и свидетельствуем: не умерло, не погибло, не исчезло с лица земли царство Христово, так ярко засиявшее в тот день в Иерусалиме. Мы говорим Богу: Ты еси един Господь, Ты наш единый царь, и мы знаем и верим и утверждаем, что победит оно, это царство Твоей любви, Твоей победы над грехом, над злом и над смертью, и что радости этой веры никто не отнимет от нас. Пускай полагают люди все свои надежды на силу и насилие, пускай верят только в пушки, в тюрьмы и в страх. Пускай мучают других людей. Нет, не устоит это царство насилия, зла и лжи. Рухнет, как рухнули все прежние царства, как исчезли все прежние властелины. А твое Господи, царство пребудет. И настанет время, когда любовью своей Ты утрешь всякую слезу с глаз наших, растворишь в своей радости всякое горе, пронзишь светом вечности созданный Тобою мир.

В Вербное воскресенье мы знаем, что после этого торжества своего Христос начнет восхождение к страданиям и к смерти. Но свет, зажегшийся в этот день, будет освещать и эту бездонную тьму. За крестом и смертью взойдет заря неизреченной пасхальной радости. Вот смысл и сила этих удивительных дней, когда, завершив пост, мы готовимся следовать за Христом к его вольной страсти, к его победному снисхождению в смерть, к его преславному воскресению в третий день.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В пасхальную ночь, когда крестный ход, обойдя церковь, останавливается у запертых ее дверей и наступает одна, последняя минута молчания перед взрывом пасхальной радости, в нашем сердце сознательно или бессознательно возникает тот же вопрос, который был, согласно евангельскому рассказу, в сердце женщин, пришедших рано утром, «едва воссиявшу солнцу», ко гробу Христа. Вопрос этот: «Кто отвалит нам камень от гроба?» Совершится ли еще раз это чудо? Станет ли еще раз ночь светлее, чем день? Наполнит ли нас еще раз эта ничем не объяснимая, ни от чего в мире не зависящая радость, которая всю ночь и еще столько дней будет звучать в этом обмене пасхальным приветствием: Христос воскрес! Воистину воскрес!

Минута эта всегда приходит. Двери открываются. Мы входим в залитый светом храм. Мы вступаем в ликующую пасхальную заутреню. Но где-то в душе вопрос остается. Что все это значит? Что значит праздновать Пасху в этом мире, наполненном страданием, ненавистью, мелочностью, войнами, что значит петь «смертию смерть поправ» и слушать о том, что «мертвый ни един во гробе», когда смерть остается все еще, несмотря на всю жизненную суету, единственной абсолютной земной достоверностью... Неужели же Пасха, эта светлая ночь, это ликование — только минутный уход от реальности, возможность некоего духовного опьянения, после которого рано или поздно, но наступают те же будни, та же серая действительность, тот же счет неумолимо пробегающих мимо дней, месяцев, лет, — та же гонка к смерти и к небытию? Ведь нам давно уже твердят, что религия — это самообман, это опиум, это выдумка, помогающая человеку в его трудной судьбе, это мираж, который все вре-

мя рассеивается. И не более ли мужественно, не более ли достойно человека от миража этого отказаться и лицом к лицу встретиться с простой и трезвой действительностью?

Что ответить на все это? Пожалуй, первый приблизительный ответ мог бы быть таким: не может быть, чтобы все это было просто выдумкой! Не может быть, чтобы столько веры, столько радости, столько света — вот уже почти две тысячи лет — было бы только бегством, миражом. Может ли мираж длиться веками? Ответ это, конечно, веский, но еще не окончательный. И надо прямо сказать, что окончательного, общеобязательного ответа, такого, который можно было бы напечатать в виде научного объяснения пасхальной веры, — такого ответа нет. Каждый здесь свидетельствовать может только о своем собственном и живом опыте и говорить за себя.

В живом и личном опыте, когда всматриваешься и вдумываешься в него, вдруг находишь то, на чем все остальное зиждется, что вдруг все освещает таким ослепительным светом, в котором действительно, как воск от лица огня, тают сомнения и вопросы. Что же это за опыт? Я не могу его иначе описать и определить, как опыт живого Христа. Не потому я верю во Христа, что раз в году и с самых ранних лет мне дано участвовать в пасхальном торжестве, а потому возможна Пасха, потому наполняется светом и радостью эта единственная ночь, потому такой победной силой звучит это приветствие: Христос воскрес! Воистину воскрес! — что сама вера моя родилась из опыта живого Христа.

Как и когда родилась она? Не знаю, не помню. Знаю только, что всякий раз, что я открываю Евангелие и читаю о Нем, читаю Его слова, Его умение, я мысленно, от всего сердца и от всего естества, говорю то, что сказали посланные фарисеями, чтобы арестовать Христа, и вернувшиеся, не арестовав Его. Они сказали: «Никогда не говорил человек так, как этот говорит!». Таким об-

разом, первое, что я знаю, это то, что учение Христа живо, и нет ничего в мире, что можно было бы сравнить с ним. Но учение это о Нем, о жизни вечной, о победе над смертью, о любви, побеждающей и преодолевающей смерть. И я знаю даже, что в жизни, в которой все кажется таким трудным и будничным, единственное, что никогда не изменяет, никогда не оставляет — это это внутреннее сознание, что Христос со мной. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И вот приходит и дает чувствовать себя. В молитве, в этом трепете души, в непонятной, но такой живой радости, в таинственном, но опять-таки, таком несомненном присутствии Его в храме во время богослужения, в таинствах; все время растет этот живой опыт, это знание, эта очевидность: Христос тут, исполнились Его слова — кто любит Меня, с тем Я пребуду — «И мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». В радости и в печали, в толпе и в одиночестве эта несомненность Его присутствия, эта сила Его слова, эта радость от веры в Него.

Вот единственный ответ и единственное доказательство. «Что ищите живого с мертвыми? Что плачете нетленного во тли?».

И поэтому все христианство есть не что иное, как новое и новое переживание веры — ее воплощение в обрядах, словах, в звуках, в красках. Неверующему она действительно может показаться миражом. Он слышит только слова, видит только непонятные церемонии. И объясняет их извне. Но для верующих все светится изнутри: не как доказательство его веры, а как ее результат, как жизнь ее в мире, в душе, в истории. Поэтому реальна, жива, современна нам Великая пятница: ее тьма и печаль, поэтому можем мы плакать у креста и переживать все то, что совершалось тогда, в день торжества зла, измены, трусости и предательства. Поэтому можем мы созерцать с трепетом и надеждой живонный гроб в Великую субботу, поэтому можем мы каждый год праздновать Пасху. Ибо Пасха — это не воспо-

минание о событии прошлого. Это — реальная встреча, в радости и счастье, с Тем, в Ком наше сердце давно узнало и встретило жизнь и свет всякого света.

Пасхальная ночь — это свидетельство о том, что Христос жив и с нами, и мы живы с Ним. Вся она — призыв увидеть в мире и жизни зарю таинственного дня Царства света. «Днесь весна благоухает,— поет Церковь,— и новая тварь ликует...». Она ликует в вере, в любви и в надежде. «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обьемем, и рцем: братие! и ненавидящим нас простим вся воскресением и тако возопиим, Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Христос воскресе!

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕРА

В эти послепасхальные дни невольно все возвращаешься к тому же вопросу: если в неслыханном утверждении — Христос Воскресел! — вся суть, вся глубина, весь смысл христианской веры, если, по слову апостола Павла, «вера наша тщетна», если не воскрес Христос, то что же означает это для нашей, для моей жизни сейчас, здесь. Вот пришла еще одна Пасха. И снова была эта удивительная ночь, это пламя свечей, нарастание волнения, снова были мы в лучезарной радости этой службы, которая вся состоит как бы из одной ликующей песни: «Ныне вся исполнишася света, небо, и земля, и преисподняя. Да празднует убо весь мир восстание Христово, в нем же утверждается». Какие радостные, какие победные слова! Все соединено: небо, земля, подземное царство смерти. Весь мир участвует в этой победе, в воскресении Христа находит свой смысл, свое утверждение.

Но вот проходит, прошла эта ночь, кончился праздник, и из света мы возвращаемся в мир, спускаемся на землю, вступаем снова в нашу реальную, будничную, трезвую жизнь. И что же? Все так же, как было, ничего не переменилось, и как будто ничто, решительно ничто на земле не имеет ни малейшего отношения к тому, что пелось в церкви: «да празднует убо весь мир восстание Христово, в нем же утверждается!» И в душу закрадывается сомнение. Эти слова — такие прекрасные, такие возвышенные — прекраснее и возвышеннее которых нет и не может быть на земле — не иллюзия ли они, не мечта ли? Их жадно впитывает в себя сердце, душа, но холодный и будничный разум говорит: мечта, самообман! Две тысячи лет прошло — и где же их действие? Где их сила? В чем их победность? И, Боже мой, как часто христиане как бы опускают голову и даже уже и не пы-

таются «свести концы с концами». Оставьте нам — как бы говорят они миру — эту нашу последнюю драгоценность, утешение, радость! Не мешайте нам в наших запертых храмах утверждать, что радуется и ликует весь мир. Не мешайте нам, а мы не будем мешать вам строить этот мир и управлять им и жить в нем, как вам угодно...

Однако на последней глубине нашей совести мы знаем, что это малодушие, этот минимализм, это внутреннее бегство в тайный и сокровенный праздник — несовместимы с подлинным смыслом и подлинной радостью Пасхи. Или воскрес Христос, или не воскрес. Или — или! И если воскрес — а о чем же ином наше пасхальное ликование, вся эта светом, торжеством и победой пронизанная, наполненная ночь? — если действительно в один решающий и единственный момент в истории не только человечества, но и всего мира — свершилась эта неслыханная победа над смертью, то тогда все действительно стало иным и новым в мире, знают это люди или нет. Но тогда и на нас, верующих, радующихся, ликующих, лежит ответственность, чтобы другие узнали и поверили, увидели, услышали и вошли в эту победу и в эту радость. Древние христиане свою веру называли не религией, а Благой Вестью, и свое назначение в мире видели в ее возвещении и распространении. Древние христиане знали и верили, что воскресение Христово — не просто причина ежегодного празднования, а источник силы и преображения жизни. И то, что слышали на ухо, возвещали с крыш...

Но, отвечает мой трезвый или, как говорят теперь, реалистический разум: но что же я могу? Как могу я возвещать, кричать, свидетельствовать? Я — бессильная песчинка, затерянная в массе? Но это возражение разума и так называемого здравого смысла — ложь, может быть, самая страшная и дьявольская ложь современного мира. Этот современный мир каким-то образом убедил нас, что силу и значение имеет в мире только число, ко-

личество, масса. Что может один против всех? Однако именно тут, именно по отношению к этой лжи и должно раскрыться во всей своей силе основное утверждение христианства, его ни на одну другую не похожая логика. Христианство утверждает, что один человек может быть сильнее всех. И именно в этом утверждении благая весть о Христе. Помните эти удивительные строчки из «Гетсиманского Сада» Пастернака:

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства
И был теперь, как смертные, как мы.

Ведь именно в этом образ Христа: человек без власти, без противоборства, без какой бы то ни было земной силы. Один! Оставленный, преданный, брошенный всеми. И побеждающий. Пастернак продолжает:

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду
И в третий день восстану,
И как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты...

«И может загореться на ходу»... В этом «может загореться» — заключен ответ на сомнения трезвого разума. О, если бы каждый из нас, знающих пасхальную радость, слышавших о победе, поверивших в то, что неведомо для мира — но для него и в нем — совершилась она, если бы каждый из нас, забыв о числах, количествах и массах, эту радость и веру передал еще только одному человеку, тронул ею одну человеческую душу? Ес-

ли бы эта вера и радость тайно присутствовали в каждом, пускай самом незначашем разговоре, были с нами в наших трезвых буднях — они начали бы сейчас, здесь, сегодня преобразование мира и жизни. «Не придет Царство Божие приметным образом»,— сказал Христос. Царство Божие приходит каждый раз — в силе, свете и победе,— когда я, когда каждый верующий выносит его из храма и им начинает жить в своей жизни. Тогда все, все время, в каждую минуту «может загореться на ходу...».

ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ

«Если не увижу — не поверю...» — так сказал Фома, один из двенадцати учеников Христа в ответ на радостные рассказы тех, кто видел своего распятого и мертвого Учителя — воскресшим. И через восемь дней, по рассказу Евангелия, когда ученики снова были все вместе, явился Христос и сказал Фоме: «Тронь, осязай Меня, убедись...». И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой». И тогда Христос сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны те, которые не видели и уверовали...».

По существу, миллионы людей думают и говорят так, как говорил Фома, и полагают, что такой подход — единственно правильный, единственно достойный мыслящего человека. «Если не увижу — не поверю...». На нашем современном языке — не называется ли это «научным» подходом?

А вот Христос говорит: «Блаженны не видевшие и поверившие». Значит есть, значит был другой подход, другая вера, другая возможность. Да, говорят на это, но это подход наивный, нерациональный, одним словом, — не научный. Это для отсталых. Я же человек современный, и вот: «если не увижу — не поверю».

Мы живем в мире великих упрощений и потому великого обеднения. «Научно», «ненаучно». Люди повторяют эти слова как самоочевидные, как сами собою разумеющиеся, и повторяют потому, что все вокруг их повторяют, не задумываясь и не рассуждая. По существу, сами-то они именно верят в эти определения слепо и упрощенно. И потому им кажется, что всякий другой подход — несерьезен и не заслуживает внимания. Вопрос решен. Но так ли это?

Я только что сказал, что мы живем в мире великого

обеднения. Действительно, если в итоге бесконечно долгого развития человек дошел до этого утверждения — «я не поверю, если не увижу», — если оно представляется ему верхом мудрости и величайшим завоеванием разума, то наш мир — бедный, плоский, и главное — неизмеримо скучный мир. Если я знаю только то, что вижу, что могу осязать, измерять, анализировать, то как же мало я знаю! Прежде всего, в этом случае отпадает весь мир человеческого духа, тех умозрений, того глубокого знания, которое вытекает не из «я вижу» или «я трогаю», а из «я думаю» и, главное, созерцаю. Отпадает то знание, которое веками было укоренено не во внешнем, эмпирическом опыте, а в какой-то другой способности человека, удивительной, и, пожалуй, действительно необъяснимой способности, которая отличает его от всего другого в мире, делает его существом поистине единственным. Осязать, измерять, давать точные сведения, даже предвидеть может — мы это знаем теперь — не только человек, но и робот, машина, компьютер. Больше того, этот робот — мы и это знаем — будет измерять, сопоставлять и давать безошибочно точные сведения лучше, чем человек, точнее, «научнее». Но вот чего никогда и ни при каких условиях никакой робот не будет способен делать — это восхититься, удивиться, осознать, умилился, обрадоваться, увидеть то как раз, чего нельзя увидеть никаким измерением, никаким анализом. Никакой робот не услышит тех неслышных звуков, из которых рождается музыка и поэзия, не заплачет, не поверит. Но без всего этого разве не становится наш мир тусклым, скучным, я бы сказал, ненужным? О да, самолеты и космические корабли полетят еще дальше, еще быстрее. Но куда и зачем? О да, лаборатории произведут еще более точные анализы. Но для чего? Мне скажут: «Для блага человечества». Понимаю, и в свою очередь отвечаю: в мире будет гулять здоровый, сытый, самодовольный человек, но он будет совсем слепым, совсем глухим, и он даже не будет сознавать своей глухоты и слепоты.

«Не увижу — не поверю». Но ведь эмпирический опыт — это только один, и притом самый элементарный, и потому самый низкий вид знания. Эмпирический опыт полезен и необходим, но сводить к нему все человеческое знание — это то же самое, что красоту картины постигать при помощи химического анализа красок. И то, что мы называем верой, на деле есть второй, высший уровень человеческого знания, и можно сказать, что без этого знания, что без веры человек не мог бы прожить и одного дня. Всякий человек во что-то верит, кому-то верит, и вопрос только в том, чья вера, чье видение, чье знание мира правильнее, полнее, более соответствует богатству и сложности жизни.

Говорят, воскресение Христа — выдумка, потому что мертвые не воскресают. Да, если нет Бога. Но если Бог есть, то смерть должна быть побеждена, так как Бог не может быть Богом распада и смерти. Тогда поверят: но Бога нет, так как никто Его не видел. Но что же значит тогда опыт миллионов людей, радостно утверждающих, что видели — не физическими глазами, а внутренним, глубоким и несомненным видением? Две тысячи лет прошло, а все на как бы с неба падающее, радостное утверждение Христос Воскресе! — несетя все тот же ликующий ответ: Во истину воскресе! Неужели не видите, неужели не слышите? Неужели на самой глубине своего сознания, по ту сторону всех анализов и измерений и осязаний не видите, не ощущаете вы неумирающего, лучезарного света, не слышите вечно звучащего голоса: «Я — путь, и воскресение, и жизнь...»? Неужели не сознаете, как на глубине нашей души Фоме Неверующему в нас, во мне, отвечает Христос: «Блаженны не видевшие и поверившие».

ЖЕНЫ — МИРОНОСИЦЫ

Когда на Страстной неделе мы слушаем рассказ о страданиях Христа, о его распятии и смерти, нас неизменно поражает одна подробность этого рассказа: верность Ему до конца немногих, главным образом — женщин, о которых почти ничего другого и не сказано в Евангелии. Про учеников Христа сказано, что все они, оставив его, бежали. Петр трижды отрекся от Него. Иуда предал Его.

За Христом, во время Его проповеди, ходили толпы народа. И все от Него ждали чего-то: ждали помощи, чудес, исцелений, ждали освобождения от ненавистного римского ига, ждали устройства своих земных дел. Смысл же Его учения — проповедь самоотвержения и любви, проповедь всецелой самоотдачи — все эти бесчисленные люди понимали плохо, да вряд ли и вслушивались в нее. Христос мог помочь, и к Нему и за Ним шли. Но вот стала расти ненависть к Нему народных вождей и власть имущих. В Христовой проповеди любви зазвучали предсказания о том, что теперь Он самого себя принесет этой любви в жертву. И толпа начала редеть, таять. В последний раз земная слава, человеческий успех Христа вспыхнули ярким пламенем в день торжественного входа Его в Иерусалим, когда, по слову Евангелия, «потрясется весь град». Но это была только минута. И не потому ли так радостно и восторженно встречали Христа, что опять, опять ждали от Него и хотели земного царства, земной победы, силы и славы?

И все это сразу кончилось. Свет погас, и за Вербным воскресеньем наступила тьма, одиночество и безысходная печаль Страстной недели. И не было ли самым страшным в эти последние дни — предательство близких, учеников, тех, которым Христос действительно от-

дал всего себя? В Гефсиманском саду даже трое самых близких не выдержали и заснули, пока Христос в последнем напряжении, в кровавом поту готовился к страшной смерти. Мы знаем, что Петр, так громко обещавший умереть со Христом, в последнюю минуту дрогнул, отказался, отрекся, предал... «И тогда,— пишет евангелист,— все, оставив Его, бежали».

Но вот, оказывается, не все. У Креста наступает час земной верности и земной любви. Те, которые во время «успеха» были, казалось, так далеко, которых мы почти не встречали на страницах Евангелия, те, которым, по словам евангелиста, Христос не говорил о Своем воскресении, и для кого, таким образом, в эту ночь у Креста все кончалось, все ггло,— эти оказались верными, пребыли в твердой земной любви. Евангелист Иоанн пишет: «При Кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина».

А потом, после смерти Иисуса, «когда настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвинил его чистою плащаницею и положил его в новом гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень, удалился...». Через день, по прошествии субботы, на рассвете третьего дня, те же женщины пришли ко гробу, чтобы, по обычаю того времени, помазать мертвое тело ароматами. И именно им первым явился Христос воскресший, они первые услышали от Него то «Радуйтесь», которое навеки стало сущностью христианской силы.

Этим людям, этим женщинам не открывал Христос, как двенадцати избранным им апостолам, тайн будущего, они не знали ни смысла его смерти, ни тайны грядущей победы, грядущего воскресения. Для них смерть учителя и друга была смертью, концом, и притом страшной и позорной смертью, страшным концом и обрывом. Они стояли у Креста только потому, что любили Иису-

са, и, любя, сострадали Ему. Они не оставили это бедное, измученное тело, но совершили все то, что извечно совершает любовь при последнем расставании. Те, кого просил Христос побыть с Ним в час страшного борения, когда, по слову Евангелия, начал он «ужасаться и тосковать», те — бросили его, бежали, отреклись. Те же, кого Он ни о чем не просил, остались верными своей простой человеческой любви. «А Мария стояла у гроба и плакала». Так сквозь все века плачет любовь, как сам Христос плакал у гроба друга своего Лазаря. И вот — эта любовь первая узнала о победе; этой любви, этой верности первой дано было узнать, что не надо больше плакать, что «поглощена смерть победой» и нет и не будет уже никогда этой безнадежной разлуки.

Так вот, значит, смысл этого воскресенья жен-мироносиц. Оно напоминает о том, что любовь и верность одни сияли тогда, в той безнадежной тьме. Оно зовет нас к тому, чтобы не умерли и не исчезли ни верность, ни любовь в мире. Оно судит наше малодушие, наш страх, наше вечное и рабское самооправдание. Таинственные Иосиф и Никодим, или эти женщины, идущие на рассвете ко гробу, — так мало места занимают в Евангелии. И однако именно здесь решается вечная судьба каждого из нас.

Мне думается, что именно в наши дни мы особенно нуждаемся в воспоминании об этой любви и о простой человеческой верности. Ибо наступило время, когда и их развенчивает воцарившееся в мире злое учение о человеке и человеческой жизни. Веками, слабо, но светил и мерцал в мире отблеск верности, любви, сострадания, что молча присутствовали при страданиях всеми брошенного Человека. И нам как за соломинку надо хвататься за все то в нашем мире, что еще живет теплом, светом простой, земной человеческой любви. Любовь не спрашивает человека о теориях и идеологиях, она обращена к его сердцу и его душе.

Грохотала человеческая история, рождались и пада-

ли царства, строилась культура, бушевали кровопролитные войны, но всегда, неизменно над землей, над этой смутной и трагической историей светил образ женщины. Образ заботы, самоотдачи, любви, сострадания. И не будь этого присутствия, не будь этого света, наш мир, несмотря на все его успехи и достижения, был бы всего лишь страшным миром. Можно не преувеличивая сказать, что человечность человека спасала и спасает женщина, и спасает не словами, не идеями, а вот этим своим молчаливым, заботливым, любящим присутствием. И если, несмотря на все зло, царствующее в мире, не прекращается тайный праздник жизни, если он празднуется в бедной комнате, за нищенским столом так же радостно, как во дворце, то радость и свет этого праздника в ней, в женщине, в ее никогда не иссякающей любви и верности. «Вина не хватило...». И пока она тут — мать, жена, невеста — хватит вина, хватит любви, хватит света на всех...

О РАССЛАБЛЕННОМ

В третье воскресенье после Пасхи читается в церкви отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором рассказано об исцелении Христом расслабленного.

«Был праздник,— пишет евангелист Иоанн,— и пришел Иисус во Иерусалим. Есть же в Иерусалиме, у Овечьих ворот, купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало множество больных, слепых, хромым, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему: так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел...».

Вот евангельский рассказ. И многие, прослушав его, скажут, должно быть: опять чудеса, опять невероятное, не имеющее и не могущее иметь ничего общего с нашей жизнью, интересами, нуждами, запросами... Но вслушавшись, задумаемся: Евангелие так по-детски просто, и евангельские рассказы так кратки, что современный человек легко обманывается этой краткостью и простотою. Ему все кажется, что истина о нем и об его жизни должна быть сложной и громоздкой, потому что сам он сложен. Но, может быть, нестареющая сила Евангелия именно в том, что оно сводит все к самому главному,

первичному, основному — добро и зло, тьма и свет, человек и Бог, жизнь и смерть. А ведь если подумать сосредоточенно, глубоко, и не только умом, а всем существом, то в конце концов речь всегда идет о главном. Ибо вся сложность жизни упирается в простоту вечных вопросов: добро и зло, жизнь и смерть, Бог и человек.

Так что же в этом рассказе вечно, непреходяще? В центре его так очевидно стоят слова расслабленного, обращенные ко Христу: «не имею человека». Это поистине вопль того, кто на опыте познал страшную силу человеческого эгоизма. Каждый за себя. Каждый о себе. Вот все они — все это великое множество слепых, больных, иссохших, и все они «чают движения воды», то есть ждут помощи, участия, исцеления, утешения. Но... каждый ждет помощи себе и для себя. И когда возмущается вода, всякий бросается вперед, забывая о других...

В евангельской перспективе купальня это, — конечно, образ мира, образ общества человеческого, символ самого строя человеческого сознания. О, конечно, в мире можно найти много примеров преодоления эгоизма, примеров доброты и самопожертвования. Но даже когда по видимости человек преодолевает свой эгоизм, он все равно остается пленником себя и своего. Если не своя персона, то семья: и для своей семьи, для своих — своя рубашка ближе к телу. Если не семья, то свой народ. Если не свой народ, то свой класс, своя партия. Свое, обязательно свое! И это свое — противопоставляется чужому, а следовательно чуждому и враждебному. Но так, скажут, устроен мир, и ничего не поделаешь. Так неужели же, отвечу я, — это и есть последняя, объективная, научная правда о человеке и человечестве? Неужели, в последнем счете, все в мире построено на личном или коллективном эгоизме и все им живет? Капитализм, говорят нам, есть зло, потому что он — эгоизм. И вот его надо сокрушить во имя, скажем, коммунизма. Но коммунизм только и делает, что провозглашает свое: свое мировоззрение, свой класс, партию и т. д., то есть свое

и себя против не-своего, другого... И нет, нет выхода из этого порочного круга. И вот, незаметно для себя, мы перестали задыхаться в этом мире, насквозь пропитанном всепоглощающим эгоизмом. Кровь, ненависть, страх, в лучшем случае — равнодушие. Когда-то, в двадцатых годах этого века, молодой человек, почти мальчик, покончил самоубийством, оставив такую записку: «Я не хочу жить в мире, в котором все жулят...». Он задохнулся, не выдержал. А нас постепенно измором берет эта привычка, и ужас эгоизма мы перестаем ощущать как ужас...

Об этом — евангельский рассказ о расслабленном. И все эти больные, немощные, иссохшие — все они больны в первую очередь неисцелимым эгоизмом, который и приводит человека к воплю: «человека не имею!» Нет человека! И это значит, что человек начинается там, где преодолен эгоизм, это значит, что человек — это прежде всего — лицо, обращенное к другому человеку, это глаза, с участием и любовью всматривающиеся в глаза другого человека. Это любовь, сострадание и помощь.

Дальше Евангелие говорит: этот новый, подлинный человек явлен, пришел к нам во Христе. В нем к одинокому и исстрадавшемуся человеку приходит не чужой, а свой; приходит, чтобы его страдание воспринять как свое, его жизнь как свою, и чтобы помочь и исцелить. «Хочешь ли быть здоровым?» Это вопрос не того, кто хочет что-то навязать, в чем-то убедить или же подчинить себе. Это вопрос подлинной любви, и потому — подлинного участия. Религия, увы, тоже может стать эгоизмом, быть занятой только собой, своими. Но важно понять, что такая религия, сколь бы она ни прикрывалась христианством, по-настоящему — не христианство... Ибо все христианство — в прорыве сквозь страшную твердыню эгоизма, в прорыве к той любви, которую, по словам ап. Павла, «излил Бог в наши сердца». Это его новая, вечная заповедь. Это то, о чем все Евангелие, вся наша вера...

РАЗГОВОР ХРИСТА С САМАРЯНКОЙ

Через четыре недели после Пасхи во всех церквах читается та глава из Евангелия от Иоанна, в которой рассказано о необычном разговоре Христа с женщиной-самарянкой. Христос, по рассказу Евангелия, остановился у колодца около города Сихарь. Ученики его пошли в город купить пищи. И вот к колодцу приходит за водой женщина. Христос говорит: «дай мне пить». Начинается беседа, во время которой женщина спрашивает: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».

Вопрос этот касался многовекового спора между евреями и самарянами, отошедшими от правоверного иудаизма. У евреев центром религии был Иерусалим, у самарян — эта гора в Самарии. Спор, как видно, касался, внешних, ритуальных предписаний религии. И в ответ на это Христос говорит женщине: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

Не может быть сомнения в том, что для понимания христианства — эти строки из Евангелия от Иоанна имеют решающее значение. Ибо в них заключена, выражена и навеки возведена настоящая религиозная революция, революция в самом понимании религии; ими действительно начинается христианство. В Духе и Истине! До этого времени и на протяжении веков религия была прежде всего предписанием, законом, уставом, причем вся ее действительность состояла как раз в слепом, безоговорочном подчинении этому предписанию. На этой горе, в Иерусалиме, не здесь, а там, не так, а этак — тысячами таких предписаний, возводимых к Богу, человек ограждал себя от беспокойства, от страха,

от мучительных исканий, сам строил себе клетку, в которой все было ясно и точно определено и не требовало ничего, кроме точного исполнения. И вот одним словом все это вычеркнуто и отвергнуто. Не на этой горе и не в Иерусалиме, а в Духе и Истине. И это значит — не в страхе и слепоте, не от боязни и мучения, а в знании и свободе, в свободном выборе, в сыновней любви. В центр, в само сердце религии поставлена Истина. Не закон, не подчинение, не предписание, а Истина. «Познаете Истину,— говорит Христос,— и Истина сделает вас свободными». В центр религии, в само ее сердце, положено искание. «Ищите и обрящете». Не успокоенность, а жажда: «блаженны алчущие и жаждущие правды». Не рабство, а свобода: «Я не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». Не исполнение правил, а любовь: «Милости хочу, а не жертвы»; «заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга».

Да, конечно, в истории христианства люди часто забывали эти слова Христа о Духе и Истине и возвращались к религии страха и обрядоверия, к спорам о Горе и Иерусалиме. И извне христианство слишком часто могло казаться только законом, только предписанием. Но судить нужно не по внешней стороне, не по падениям и извращениям, а по внутреннему вдохновению. Судить нужно по тем, кто всерьез и до конца приняли эти слова Христа о Духе и Истине и сделали всю свою жизнь как бы одним сплошным полетом любви и свободы, радости и одухотворения. Сколько ни было падений в его истории, христианство не вычеркнуло слов этих из Евангелия и, следовательно, ими судит и само себя.

Гораздо трагичнее то, что в своей слепой ненависти к религии антирелигиозная пропаганда замалчивает эти слова, точно они никогда не были произнесены, и, для легкой с ней расправы, отождествляет религию с чем-то внешним, с суеверием, страхом. Однако говорить о христианстве — это значит всегда и в первую очередь гово-

речь о Христе, о Его учении, о Евангелии. Евангелие рассказывает о том, как люди предпочли свое — свои убеждения, идеологию, закон — «Духу и Истине», как не выдержали этого призыва к освобождению. Настоящий смысл Евангелия — это рассказ об отвержении людьми Того, кто призвал их жить в Духе и Истине. И потому — в Евангелии объяснение той ненависти ко Христу, которая продолжается и до сего дня и заставляет людей лгать, клеветать, замалчивать. Ибо и сейчас христианство страшно всякой идеологии только вот этим «в Духе и Истине». Эти слова — вечный вызов всякому идолу, религиозному или идеологическому. И пока не вытравлены эти слова из самых глубин памяти человеческой, человек не примет до конца учение, порабощающее его материю, делающее его всего лишь винтиком безличного процесса, служителем и рабочим безличного коллектива. И потому все последователи этих идеологий только делают вид, что борются с религией как суеверием. Нет, как суеверие, как закон, как рабство — религия им даже нужна. Ибо она служит доказательством их учения. Больше всего на свете они боятся, что кто-нибудь узнает о настоящем смысле религии, об этих потрясающих, освобождающих словах Христа: «в Духе и Истине!».

Сила сейчас на стороне воинствующего безбожия. Религии — вот уже почти шестьдесят лет — заткнут рот. Но это-то и доказывает силу религии. Ей потому и закнули рот, что на глубине она хранит учение о Духе и Истине, о том, что без Духа и Истины человек жить не может, о том, что Дух и Истина сильнее всего на свете. Разговор, начатый тогда, в знойный полдень у колодца, продолжается — ибо человек никогда не перестанет спрашивать, искать, жаждать, и узнавать снова и снова, что это жажды, этого искания, этого духовного голода не утолить ничем, кроме Бога, который и есть Дух и Свобода, Любовь и Свобода. Жизнь вечная и полнота всего.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В самом слове «вознесение» трепещет радость, это как бы вызов так называемым «законам природы», всегда влекущим вниз, всегда низводящим, порабащившим закону тяжести, притяжения, падения. А тут наоборот — легкость, полет, безконечное возношение.

Вознесение Господне празднуется сорок дней спустя после Пасхи, в четверг шестой недели после праздника Воскресения Христова. Накануне, в среду, совершается, согласно церковному уставу, так называемое Отдание Пасхи, как бы прощание с нею. В этот день начало и конец службы совершается так же, как и в самый праздник Пасхи. Поются радостные стихи: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его...», «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в оный...».

Возглашая эти стихи, священник кадит весь храм с пасхальным трисвечником в руках, и в ответ на каждый стих несетя радостное — «Христос воскрес». Прощаемся с Пасхой, «отдаем» ее до следующего года. И как будто должно было быть грустно на душе. Однако вместо грусти ниспосылается нам новая радость. Радость созерцания, празднования Вознесения Господня. О самом этом событии в Евангелии рассказано так. Дав ученикам последние наставления, Господь «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой...».

«С радостью великой...». О чем эта великая радость, которая продолжается и до наших дней и таким удивительным светом вспыхивает в празднике Вознесения? Ведь как будто ушел, оставил их Христос, это был день разлуки. Впереди — длинный-длинный путь пропове-

ди, гонений, мучений, соблазнов; до самых краев полными история христианства и Церкви. Кончилась, как будто, радость земного, ежедневного общения со Христом, покров Его силы, Его божества.

Но как хорошо один проповедник озаглавил свою проповедь на праздник Вознесения, назвав его «радостью разлуки!» Ибо, конечно, не уход Христа празднует Церковь. Христос сказал: «Я с вами до скончания века», и вся радость христианской веры — от сознания Его присутствия, от Его слов: «где два или три собраны во имя Мое, там Я посреди Них». Не уход Христа, а Его вознесение на небо.

Праздник Вознесения — это праздник неба, открытого человеку, неба как нового и вечного дома, обители, неба как нашей подлинной родины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными, низменными, к земле обращенными и землей одной живущими. Грех — это предательство неба в душе. Именно в этот день, в праздник Вознесения, мы не можем не ужаснуться этому отречению. Весь мир пронизан им. Человек с гордостью и важностью объявляет, что он только материя, и что весь мир материя, и что нет ничего, кроме материи. И он даже, как будто, радуется этому, и с жалостью и презрением, как о дурачках и невеждах, говорит о тех, кто еще верит в какое-то «небо». Да что вы, братцы, небо — эта та же материя, и ничего другого нет, не было и не будет. Умрем — сгнием, а пока что давайте строить рай земной забыв о выдумках попов.

Вот кратко, но абсолютно верно — вершина нашей культуры, нашей науки, наших идеологий. Прогресс на кладбище, прогресс червей, мергвечиной питающихся. Но что же предлагаете вы, спросят нас, что это за небо, о котором вы говорите и в которое вознесся Христос? Ведь «наверху», на небе — нет того, о чем вы говорите. Но на этот вопрос пусть ответит христианский проповедник Иоанн Златоуст, живший 16 веков тому назад. Говоря о небе, о небесном, Иоанн Златоуст восклицает:

«Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом...». Пусть ответят наши предки, назвавшие храм небом на земле. Ибо все эти ответы сводятся, в сущности, к одному: небо — это имя нашего подлинного призвания, небо — это последняя правда о земле.

Нет, не о запланетном пространстве, не о неведомом космосе идет речь. А о небе, возвращенном нам Христом, о небе, которое мы потеряли в своем грехе и гордыне, в своих земных, только земных науках и идеологиях, и которое раскрыл, даровал, вернул нам Христос. Небо — это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты. Небо — это полное одухотворение человека, небо — это царство Божие, это победа над смертью, это торжество любви, ведения, это — то абсолютно желанное, про которое сказано так: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что уготовал Бог любящим Его».

Все это раскрыл, все это дарит нам Христос. И потому небом пронизывает нашу жизнь здесь и сейчас, саму землю делает отображением, отсветом небесной красоты. Кто снизошел с неба на землю, чтобы вернуть нам небо? Бог. Кто — от земли возносится на Небо? Человек Иисус. «Бог,— говорит святой Афанасий Великий,— стал человеком, чтобы человек стал Богом». Бог спустился на землю, чтобы мы вознеслись на небо! Вот в этом праздник Вознесения! В этом его свет, его несказанная радость. Если Христос на небе, и если мы верим в него и любим Его, то и мы с Ним там. За его трапезой, в Его царстве. Если в Нем человек возносится, а не падает, то в Нем — и мне открыто вознесение, и к нему я призван, и в нем открывается мне цель, смысл и последняя радость моей жизни. Все, все окружающее нас тянет вниз. Но я смотрю на Божественную плоть, возносящуюся на небо, на Христа, восходящего «во глазе трубном», и говорю себе и миру: «Тут правда о мире и о человеке, тут то, к чему извечно призывает нас Бог».

Исполнив все, задуманное о нас,
Соединив земное с небесным,
Вознесся Ты во славе, Христе Боже,
Никак не отлучаясь,
Но пребывал неотступно,
И говоришь любящим Тебя:
Я с вами, и никто же на вас...

ПЯТИДЕСЯТНИЦА

«Праздник сошествия Святого Духа». Произносишь эти привычные с детства, знакомые слова и вдруг поражаешься им: словно услышал их в первый раз. Да, с детства знаю, что через десять дней после праздника Вознесения, и значит — через пятьдесят дней после Пасхи, искони праздновали и празднуют христиане сошествие Святого Духа, по церковному его названию — праздник Пятидесятницы, а по народному, бытовому — Троица, Троицын день. В этот день с незапамятных времен убирали и украшали церкви зеленью, ветками, а церковный пол устилали травой... В день же праздника, на торжественной вечерне, стояли люди с цветами в руках.

Таким вошел этот праздник и в народное сознание, и в родную литературу — как некое солнечное, светлое торжество, как праздник цветения, как некая радостная встреча человека с Божьим миром по всей его красе и благодатности.

Все религии — и среди них самые древние, самые первобытные — знали праздник летнего цветения, праздник первых всходов, плодов, растений. Если в ветхозаветной религии Пасха была праздником весеннего воскресения мира и природы, то Пятидесятница — праздником перехода весны в лето, праздником победы Солнца и света, праздником космической полноты. Но в Ветхом Завете этот фактически общечеловеческий праздник приобретает новое значение: он становится ежегодным воспоминанием восхождения Моисея на гору Синай, где в некой несказанной, мистической тайне явился ему Бог, и заключил с ним Завет, и дал его Заповеди, и обещал спасение. Религия, иными словами, перестала быть только природой и стала началом истории: Бог открыл свой закон, свои заповеди, Бог раскрыл человеку свой

замысел о нем, Бог указал человеку путь. Весна, лето, вечный природный круг — сделались знаком и символом не только природы, но и духовной судьбы самого человечества и ему заповеданного возрастания в полноту знания, жизни и совершенства... И наконец, в самый последний период Ветхого Завета праздник этот стал — в учении и прозрениях пророков — праздником, обращенным к будущему, к последнему торжеству Бога в своем творении. Вот как говорит об этом пророк Иоиль: «И будет в последние дни — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь излию Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле... прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется...».

Итак — праздник природы и космоса, праздник истории как раскрытия воли Божией о мире и о человеке, праздник будущего торжества, победы Бога над злом, наступления великого и последнего «дня Господня»... Все это надо знать или вспомнить, чтобы понять, как переживали, воспринимали и праздновали праздник Пятидесятницы первые христиане, почему стал он одним из главных христианских праздников.

Именно с описания того, что произошло через пятьдесят дней после воскресения Христа, через десять — после Его вознесения на небо, начинается книга Деяний Апостольских, посвященная истории первых христиан, самого первого распространения христианства. Начинается она со слов Христа, сказанных им перед вознесением: «Не отлучайтесь из Иерусалима, — сказал Христос, — но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня...».

И вот, через десять дней, по рассказу евангелиста Луки, «при наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с

неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И наполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им говорить...».

Видевшим это и недоумевавшим апостол Петр объяснил смысл совершавшегося словами пророка Иоиля, которые я только что цитировал. «Это то, что предрек пророк Иоиль,— сказал он,— и будет в последние дни, излию Духа Моего на всякую плоть...».

Итак, для христиан праздник Пятидесятницы — это исполнение всего совершенного Христом. Христос учил о Царстве Божием — и вот оно раскрылось! Христос обещал, что Дух Божий откроет Истину — и вот это совершилось. Мир, история, время, жизнь: все освещено последним светом, все наполнено окончательным смыслом. Начался в мире последний и великий день Господень!

РУССКИЕ СВЯТЫЕ

Через две недели после праздника Троицы Церковь вспоминает всех святых Русской земли, или, как называется этот праздник, «Всех Святых в Земле Российской Просиявших». Праздник этот был установлен в 1918 году на Всероссийском Церковном Соборе как ответ на начавшееся тогда открытое гонение на религию и Церковь в нашей стране. Вопрос, который был поставлен тогда и, в страдании и насилиях, решается до сего дня — есть по существу вопрос о душе народа. Что такое эта душа? Что такое народ, его органическое единство, его общая память, его самосознание?

Вот уже много лет на эти вопросы дается два абсолютно противоположных и взаимоисключающих ответа. И поскольку ответы эти — не отвлеченные, не академические, а определяют собою действительно всю жизнь, то именно они вызывают ту борьбу, которая и составляет основную, решающую тему всей современной истории.

Не случайно, конечно, война с религией составляет постоянную, неотъемлемую часть, лучше сказать, основу той идеологии, что навязывается человеку у нас буквально с пеленок. Не случайно эта война не прекращается при всех внешних переменах и изгибах генеральной линии. Сколько бы ни говорили о «либерализации» тех или иных аспектов режима, в отношении религии мало что меняется. Так, чтобы не быть голословным, можно указать на один страшный факт: только с 1961 года закрыто 10 000 православных храмов, фактически около половины всех церквей на территории Союза. Против религии применяются все новые и новые меры, все новые и новые ограничения. Ни лояльность верующих во время войны, признанная тогда самим правительством, ни послушание епископов и иерархии, ни монополия всех

средств воспитания, наконец, даже ни конституция — ничего не меняет это страстное желание — уничтожить религию, выкорчевать ее по возможности до конца из народной памяти и сознания. Ведь никто уже больше не верит в те плоские выпады против религии, которыми наполнены антирелигиозные брошюры, и все труднее и труднее становится ссылаться на науку и на ее якобы полную несовместимость с религиозными верованиями. Уж слишком много ученых во всех частях мира отлично соединяют самую высокую научность с самой искренней верой. Поэтому очевидно, что борьба с религией ведется во имя другого понимания человека, его призвания, его сущности, понимания, которого никогда не примет человек, пока в нем теплится хоть немного веры в свое божественное происхождение, пока он хоть что-то знает про Иисуса Христа, пока хоть где-то звучат евангельские слова, равных которым нет в мире: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо тии насытятся». Не случайно это первое понимание называется материалистическим. Из всех возможных определений человека взято самое антидуховное, такое, которое начисто и навсегда отрицает в человеке само даже стремление к вечному, абсолютно-совершенному, небесному, божественному. Сколько бы ни говорили сегодня о морали, о душе, о нравственности, простое изучение источников материалистического мировоззрения доказывает с абсолютной очевидностью, что, по-настоящему, для них нет места в этом мировоззрении, что им неоткуда взяться и они ничему в материализме не соответствуют. И если в последнее время слова эти стали употреблять и говорить время от времени о нравственной красоте, о душе и так далее, то все это контрабанда. Ибо материализм начинает с отрицания души — и говорить о ней может только в условном смысле, так что за словами этими не стоит на деле никакой реальности. И пока это материалистическое понимание человека составляет обязательную основу идеологии, мировоззрения — с религией не может быть

никакого примирения, и борьба, ведущаяся против нее, логична, оправдана и самоочевидна. Только наивные люди могут думать, что здесь какое-то недоразумение, которое при доброй воле можно уладить.

В свете сказанного приобретает особое значение Праздник Всех Святых, в Земле Российской Просиявших. Ибо это не наивное перечисление каких-то странных и древних людей, не имеющих никакого отношения к жизни, а утверждение именно души, духовного средоточия народа, его истории, его самоопределения и его самоощущения. Это утверждение того, что каждый народ имеет душу, то есть то самое высшее, чистое и лучшее, по отношению к чему он себя определяет. И это высшее, чистое и лучшее выражают именно святые. Когда-то русский народ называл себя «Святой Русью». И это не означало, конечно, что он признавал себя состоящим из святых. Это означало, что он мерил себя, свою жизнь, свои падения и достижения лучшими из своих сынов, и лучшими, прежде всего, в области нравственного совершенства. В Евангелии сказано: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Так вот, веками сокровище русского человека было не в материальных достижениях, не в гроыхающей внешней силе, а в поразительной духовной красоте и утонченной святости. Доказательство и свидетельство этому — древняя русская иконопись, до сих пор поражающая одинаково верующих и неверующих глубиной и светом своего мироощущения... Достаточно взглянуть в потрясающие лики Андрея Рублева, в Ангелов его Троицы, например, чтобы стало ясно, как понимал, как ощущал мир, жизнь и себя в мире человек, создававший эти образы или же молившийся в согласии с ними. Это другой человек, несовместимый, абсолютно несовместимый, с человеком материалистическим. У него другое сокровище, другие печали, другие радости, другие ценности в жизни. Он может падать и изменять, но он дышит другим воздухом и в сердце его всегда светлая печаль о мире нестареющей, о радости

и мире в Духе Святом. Праздник Всех Святых в Земле Российской Просиявших — это спокойное и радостное утверждение реальности другой России, той, про которую Тютчев сказал когда-то, что всю ее «в рабском виде Царь Небесный исходил благословляя».

Русские святые. О них не говорят и не пишут — как будто их и не было. Но вот раз в год Церковь приглашает нас всех взглянуть духовным взором на некую огромную духовную икону России, на все это множество, великое множество людей самых разных классов и слов населения: князей, епископов, монахов, богатых, нищих, юродивых, мужчин, женщин, живших небесной красотой, шедших узким путем нравственного подвига, искавших, алкавших, жаждавших только небесной правды, только любви, только победы духа. И можно быть верующим или неверующим и одинаково, в равной мере ужасаться тому, что все они вычеркнуты, ликвидированы в официальной истории народа, как ее строят и навязывают сегодня. Делается страшно за страну, отрекающуюся от своей души, от лучшего в себе. А именно этого хотят носители и насадители материалистического понимания человека. И потому Праздник Всех Святых в Земле Российской Просиявших — перерастает свое чисто церковное и богослужбное значение. Он становится вопросом, обращенным к каждому, вопросом о душе, о последнем смысле, последней ценности бытия народа.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Иисус, по рассказу евангелиста Матфея, взял «Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи... Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

Что означает этот рассказ в Евангелии, каково место этого таинственного явления славы в земной жизни, в земном служении Христа? Ведь вряд ли кто будет спорить с тем, что образ Христа в Евангелии есть, прежде всего, образ смирения. Для рождения Его не нашлось места в доме, в городе — оно совершилось в пещере. И так — бездомным, «не имеющим», как Он сам говорил, «где главу приклонить», Он остался до самого конца. Он запрещал тем, кого исцелял, кому помогал, рассказывать об этом. Он уклонялся от почестей, от какого бы то ни было прославления, и Он по своей воле возвратился из Галилеи, где ничто Ему не угрожало, в Иерусалим — на мученья, позор суда и осуждения, на мучительную и позорную казнь. «Научитесь от меня,— говорил Он,— ибо Я кроток и смирен сердцем...».

И вот в эту жизнь смирения и самоуничтожения только несколько раз как бы врывались лучи Божественной силы и славы, и неизменно только очень немногие были свидетелями этих «прославлений». И обычно даже не понимали их смысла. Так было в ночь Его рождения — когда простые пастухи услышали ангельское славословие, «возвещение», как говорит Евангелие, «радости великой». Так было — уже много лет спустя, в день, когда пришел Иисус принять крещение на Иордан, и вот, тот же голос с неба и те же слова: «Сей есть Сын мой возлюбленный...». И наконец, вот тут, на горе, перед тремя учениками. И каждый раз это именно таинственная небесная слава, каждый раз — прославление не от людей, а свыше, с неба...

На вопрос о смысле этого прославления Церковь отвечает не объяснениями, а самим празднованием, той радостью, с которой она каждый год вспоминает Преображение. Одно слово доминирует в этом праздновании, во всех его молитвах, песнопениях, чтениях. Слово это — свет. «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой присносущный!» В мире темно, холодно, страшно. И этой тьмы не рассеивает свет физический, солнце, может быть даже наоборот — он еще страшнее и безнадежнее делает человеческую жизнь, в страданиях и одиночестве неумолимо, неотвратимо стремящуюся к смерти и к небытию. Все обречено, все страдает, все подчинено непонятному, но безнадежному закону зла и смерти. И вот в мире является человек смиренный, бездомный, не имеющий власти над людьми, никакого земного могущества. И он говорит людям, что это царство тьмы, зла и смерти — это не подлинная жизнь, это не тот мир, который создан был Богом, что зло, страдания и сама смерть можно и нужно победить и что Он послан Богом, Отцом своим, чтобы спасти людей от страшного порабощения злу и смерти. Человек забыл о своей подлинной природе и призвании, отрекся от них. Они должны обратиться, увидеть то, что разучились видеть, услышать то, что уже неспособны

услышать. Должны снова поверить, что добро — сильнее зла, любовь — сильнее ненависти, жизнь — сильнее смерти.

Христос исцеляет, помогает, всем отдает себя. И все же не понимают, не слышат, не верят люди. Он мог бы явить свою божественную силу и славу и заставить их поверить в Себя. Но Он хочет от них только свободной веры, свободной любви, свободного приятия. Он знает, что в час последней Его жертвы, последней самоотдачи все в страхе оставят, бросят Его. Но чтобы потом, позднее, когда уже все совершится, осталось в мире свидетельство о том, куда Он зовет людей, что предлагает Он нам — как дар, как жизнь, как полноту смысла и радости, Он, тайно от мира и от людей, явил троице из учеников своих ту славу, тот свет, то торжество, к которому вечно призван человек. Божественный свет, пронизывающий весь мир. Божественный свет, преображающий человека. Божественный свет — в котором все приобретает свой последний и вечный смысл. «Хорошо нам здесь быть», — воскликнул апостол Петр, увидев этот свет и эту славу. И с тех времен христианство, Церковь, вера суть постоянное, радостное повторение этого «хорошо нам здесь быть!» А также — мольба о присносущном свете, жажда просветления и преображения.

Сквозь тьму и зло, сквозь серость и будничность мира, как луч сквозь тучи, — сияет этот свет. Его знает душа, им утешается сердце, им постоянно живет и подспудно преображается наша жизнь. «Господи! Хорошо нам здесь быть!» О, если бы эти слова стали нашими, о, если бы они могли стать ответом нашей души на дар Божественного света, о, если бы могла наша молитва стать молитвой о преображении, о победе света!.. «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой присносущный!».

Освящение плодов

В день праздника Преображения, согласно древнему обычаю, совершается в православных храмах освящение фруктов и овощей. И это побуждает нас спросить себя: в чем смысл этого древнего обряда, что значит вообще освящение? Освящение плодов на Преображение — только один из таких обрядов благословения и освящения. Если раскрыть богослужебную книгу, называющуюся «Требник», книгу, в которой собраны все эти службы, то мы найдем там особые службы и обряды для освящения нового дома, поля, огорода, колодца. Словно ко всему миру обращена Церковь благословением, освящением, словно над всем распростерта благословляющая рука Божия.

Почему с незапамятных времен испытывали люди нужду в освящении? Скажем сразу, что для безбожной пропаганды все эти обряды безоговорочно отождествляются с суевериями, в которых, как она говорит, — вся сущность религии. А суеверие от страха: человек боится. Боится отравы, боится неурожая, боится пожара, боится других людей, и вот религия, дескать, предлагает ему помочь избавиться от этого страха. Окропи фрукты, или огород, или дом святой водой — и Бог защитит их, и тем самым — тебя. Как видите — грубое невежество, суеверие и... обман.

Однако, представляя дело так, безбожная пропаганда никогда не приводит ни самих молитв, ни обрядов, связанных с этими якобы суевериями. Выходит так, что какие-то обманщики-священники, духовенство эксплуатируют страх и невежество, оперируя непонятными, магическими заклинаниями. Но если вслушаться в эти молитвы, взглядеться в эти обряды, если хоть раз в жизни пережить радость этого светлого, солнечного преображенского полдня, когда совершается освящение, то ясно становится, что обманывает не Церковь, а примитивная

и злобная безбожная пропаганда. Что именно эта пропаганда, а не молитва Церкви — пронизана страхом, недоверием, потребностью развенчать все, что выше, чище, глубже ее упрощенного материалистического, скучного подхода к миру и к жизни. Ибо первое, что мы видим, слышим, переживаем в обрядах и молитвах освящения, — это радость и благодарность. А там, где страх, там не может быть радости и благодарности. И наоборот — там, где радость, — там уже нет страха. «В страхе, — говорит святой апостол Иоанн Богослов, — есть мучение». Но вот именно мучения, недоверия нет в преображенском свете.

Но о чем радость? И за что благодарение? В одном стихотворении Осипа Мандельштама, посвященном главному христианскому богослужению — литургии, есть такая удивительная строчка: «взять в руки целый мир, как яблоко простое...». Тут, может быть, лучше всего, ибо так просто, так по-детски, указан источник радости и благодарения, пронизывающих христианскую веру. В яблоке, но, конечно, не только в яблоке, но и во всем в мире вера видит, узнает, принимает дар Божий, наполненный любовью, красотой, мудростью, говорящий о той безмерной любви, что создала мир и жизнь и дала нам их, как нашу жизнь. Сам мир есть как бы плод Божественной любви к человеку, и только через мир узнает человек Бога и любит Его ответной любовью... И любит свою жизнь, а тем самым и жизнь мира претворяет в Дар Богу.

Наше падение, наш грех в том, что мы ко всему привыкаем, и потому все в мире, да и мы сами, становимся будничными, низменными, пустыми. Яблоко становится только яблоком. Хлеб — только хлебом. Человек — только человеком. Мы знаем их вес, наружность, функции, мы все знаем о них, но мы их уже больше не знаем, ибо не видим света, просвечивающего через все в мире. И вечное назначение веры и Церкви в том, чтобы эту греховную, унылую привычку преодолеть. Чтобы снова

дать нам увидеть то, что разучились мы видеть и чего больше не видим, почувствовать то, чего не чувствуем, пережить то, что больше не в состоянии переживать.

Вот освящает священник хлеб и вино, и поднимает их к небу, и узнает вера в них хлеб жизни, узнает жертву и дар, узнает причастие жизни вечной. Вот в день Преображения приносим мы в храм яблоки, груши, виноград, овощи — и на миг сам храм претворен снова в таинственный сад, в тот блаженный рай, в котором началась жизнь человека и встреча его с Богом. И как тогда тот первый человек раскрыл свои глаза и увидел этот мир, о котором Бог сказал, что все в нем «хорошо весьма», и обрадовался, и возблагодарил Бога, так и мы, как будто в первый раз видим мир как отражение Божьей мудрости и любви, и радуемся, и благодарим. И в этой радости и благодарении очищается, обновляется и возрождается наша жизнь.

Нет, не отрицаем мы материю, как утверждает лживая безбожная пропаганда, и не отвергаем ее, а напротив, ее — одухотворяем, ибо в ней с радостью и благодарностью ощущаем дар Божий. «Небо и земля исполнены славы Твоей», — поем мы каждый день в церкви. В том смысл освящения, что в нем слава эта пробивается через наше заснувшее сознание и очищается наш слух, очищается наше зрение, и сама жизнь становится хвалой, радостью и благодарностью.

А как же со злом, — спросят меня. — Как со страданием, как со смертью? На это ответим: если до конца просветимся мы этим светом, если подлинно примем в себя это освящение, то начнется в нас самих победа над злом. И поглощена будет смерть победой. Ибо живем мы в мире, в котором жил и вечно пребывает Христос. И ничто не разделит нас с Ним, если мы увидим его, полюбим Его, отдадим себя Ему — и во всем в мире увидим свет Его присутствия, Его любви, Его победы.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОЧИТАНИЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Я убежден, что не только верующие, но и неверующие знают, какое огромное и совсем особое место занимает в вере и в жизни Церкви почитания Марии, Матери Иисуса Христа. С самых древних времен церковное предание называет Ее Божьей Матерью, Богородицей, Пречистой, Всесвятой... А одна из самых распространенных, чаще всего повторяемых церковных молитв величает Ее «честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим», то есть указывает, что Ей подобает большая честь, чем херувимам, и что объята Она неизмеримо большей славой, чем серафимы, как называет Священное Писание ангелов. Нет в церкви службы, почти нет молитвы, в которой не упоминалось бы Ее имя.

Как не упомянуть о том, что ничем иным не пронизано так все христианское искусство, как западное, так и восточное, как образом Матери с Божественным Ребенком на руках. Этот образ видим мы сразу, входя в храм,— на самом почетном месте около царских врат иконостаса. Перед ним так привычно видеть море горящих свечей, а если поднять взор выше, то в апсиде, над алтарем, в православных храмах часто можно увидеть образ Марии, стоящей в самом центре, являющей как бы сердце всего мира, и надпись: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь».

На одной только Руси существовало свыше трехсот так называемых чтимых или чудотворных икон Божьей Матери, то есть икон, окруженных исключительным почитанием. К ней неиссякаемой волной неслись молитвы, хвала, радость, просьбы о помощи, совсем особая любовь. Но вот в наши дни многие, даже, как говорится теперь, «интересующиеся» религией, приходящие от безбожия к вере, задают вопрос о смысле этого почита-

ния Матери Иисуса Христа, оно для них не самоочевидно и даже, как будто, вызывает сомнения.

Бог, Христос — это понятно. Но вот — не слишком ли много места отведено Марии, не заслонил ли в народной религии образ Ее — образ Ее Сына, не преувеличена ли эта хвала, эта любовь? О неверующих, о безбожниках, о тех, кто занят активным развенчанием религии, — о них я не говорю. Для них весь этот культ, как они выражаются, культ Матери, культ Девы — одно сплошное суеверие, пережитки, остатки древних религий с их почитанием Матери-сырой земли и рождающих сил природы. Поэтому так нужно сейчас попытаться объяснить подлинный смысл, подлинное содержание, подлинную направленность этого издревле идущего церковного прославления Той, кто сама про себя сказала, согласно евангельскому рассказу, — «се бо отныне ублажат Мя вси роди».

Я говорю — «попытаться», потому что сделать это, дать такое объяснение — нелегко. В одном из церковных песнопений, посвященных Деве Марии, сказано так: «Яко одушевленному Божию кивоту да никакоже коснется рука скверных», что в вольном переводе с церковно-славянского значит: «Пусть не коснется нечистая рука одушевленного жилища Божия». Чем выше, чище, святее, прекраснее то, о чем хочешь говорить, тем труднее это. И до конца, думается мне, невозможно выразить словами, что увидело, что осознало, что полюбило и что — с такой радостью, с такой любовью — прославляет в этом единственном образе церковное сознание всех времен.

2

В Новом Завете о Марии, матери Иисуса Христа, говорится сравнительно немного. Из четырех евангелистов только двое — Матфей и Лука — рассказывают о рождении Иисуса Христа в Вифлееме, и это значит — назы-

вают Его Мать, говорят о внешних обстоятельствах этого события, и т. д. У евангелиста Марка о Марии не говорится вообще. В Евангелии от Иоанна Она появляется два раза: в самом начале, в рассказе о браке в Кане Галилейской, где Она ходатайствует перед своим Сыном об устройстве брачной трапезы, за которой не хватило вина. И в самом конце, когда Мать стоит у Креста, на котором распят Ее Сын.

В книге Деяний Апостольских, посвященной в первой своей части, жизни первой христианской общины в Иерусалиме Мария упоминается один раз, в первой главе, где сказано, что ученики Христовы пребывали вместе в молитве с женщинами и Марией, Матерью Иисусовой. Во всех других книгах Нового Завета, посланиях Павла и прочих апостолов,— о Ней ничего не сказано. Отсюда, именно из этого обстоятельства, черпают свой первый и главный аргумент все те, кто в почитании Божией Матери, занимающем огромное, действительно центральное место в жизни Церкви, видит нечто как бы «наносное» в христианстве, чуждое его первоначальному духу и учению. Таков был уже в XVI веке аргумент протестантов, считавших, что поклонение и почитание, воздаваемое Божией Матери, не имеет основы в Священном Писании и отдает идолопоклонством. Вот, говорят нам, в Церкви празднуются праздники Рождества Божьей Матери, Введение Ее во храм, Ее Успения. Но ведь ни одно из этих событий даже не отмечено в Священном Писании, в Библии, в Новом Завете, и, следовательно, все это человеческие выдумки, затмившие первоначальную чистоту и простоту христианского учения.

И вот потому, что аргумент этот действительно серьезный, с ответа на него и следует начать то, что мы назвали «посильной попыткой» объяснить содержание и смысл почитания Марии в Церкви и вообще в христианстве.

Ответ этот я начну с нескольких слов о подходе к религиозным явлениям вообще. Ибо к этим явлениям существует, и всегда существовало, два подхода. Один можно назвать подходом извне, а другой — подходом изнутри. Самым простым определением подхода извне является определение его как подхода, основанного всецело на доказательствах. Докажи, что есть Бог, докажи, что Христос — Бог, докажи, что в христианском таинстве хлеб становится Телом Христовым, докажи, что есть другой мир... Докажи, и я тебе поверю. Но пока не докажешь — не поверю. Но достаточно вдуматься во все эти «докажи», и очевидно становится, что подход этот не только не может подвести к сущности религиозных явлений, но он не подходит к жизни вообще, за исключением узкой сравнительно сферы естественных наук. Доказать, что вода кипит при 100° — можно. Но доказать, что Пушкин — гений, невозможно. Как невозможно доказать вообще ничего, что относится к внутреннему миру, внутренней жизни человека, его радости и печали, восторгу и вере. Обратим внимание и на то, что сам Христос ничего не доказывал, а только звал людей увидеть, услышать, принять то, чего они не видели, не слышали, не принимали, и сейчас еще — в огромном большинстве своем — не видят, не слышат, не принимают. Иными словами, чем выше истина, добро, красота — тем менее они доказуемы, тем менее применим к ним подход, заключенный в доказательствах.

И это приводит нас ко второму методу, тому, который мы назвали методом или подходом изнутри. Именно этим методом, сами себе в том не отдавая отчета, мы и пользуемся в нашей подлинной, а не отвлеченной жизни. Именно им и живем. Так, например, когда мы любим человека, нам раскрывается в нем то, чего не любящий его не видит в нем. Раскрывается его внутренняя сущность, скрытая от внешнего взора, но открывающаяся любви, близости, непосредственному знанию. И вот, вместо того, чтобы подсчитывать «извне», сколько раз упо-

минается имя Матери Иисуса в том или ином тексте, попробуем вопрос о почитании Ее в христианской вере поставить совсем по-другому, поставить в согласии с только что указанным нами методом «изнутри»...

Я скажу так: если бы вера наша во Христа ничего не знала о Матери Его, кроме того, что Она была, и что звали Ее М а р и я, то этого одного простейшего знания было бы достаточно, чтобы узнать о Ней, увидеть в Ее образе, найти в самой вере, найти также в нашем сердце все, что за две тысячи лет увидела, услышала и распознала в этом образе Церковь. Нам говорят — в Библии ничего не сказано о рождении Марии и Ее смерти. Но ведь если Она была, жила — следовательно, она родилась и, следовательно, умерла. Так неужели же наша любовь ко Христу, наша вера в Него равнодушна к тому, что началось в мире, когда родилась в нем Та, которой суждено было стать Его Матерью? Неужели — если мы верим в абсолютную, божественную единственность Христа и того, что Он совершил в мире, — мы не сосредоточим нашего умственного, духовного взора на женщине, давшей Ему Его человеческую жизнь?

Иными словами, именно из любви и из знания, только любовью даруемого, — все почитание Божьей Матери, вся любовь к Ней, все наше знание о Ней. И по-настоящему стоит перед нами всегда только одна возможность, только один выбор: придите, вкусите и сами решите, что это — выдумка и мифология или же истина, жизнь, красота, которые сами себя доказывают нам — своей жизненностью, глубиной и красотой.

3. Благовещение

Благовещение! Когда-то это был один из самых радостных, самых светлых дней в году, праздник, с которым не только в сознании, но, я бы сказал, — и в подсознании, была связана какая-то ликующая интуиция, свет-

лое видение мира и жизни. Конечно, для так называемого научно-атеистического подхода к религии в евангельском рассказе о Благовещении, из которого вырос праздник, найдется особенно много поводов, чтобы говорить о «мифах и легендах». Разве это бывает, скажут позитивно мыслящие и рационально настроенные люди, чтобы ангелы являлись молодым женщинам и вели с ними разговоры? Неужели же верующие надеются, что люди XX века, люди технологической цивилизации и научной настроенности в это поверят, неужели верующие не понимают, как все это несерьезно, ненаучно, неправдоподобно?

На эти вопрошания, насмешки, разоблачения верующий может всегда дать только один, все тот же ответ: да, увы, включить это в ваше плоское мирозерцание действительно невозможно; да, пока разговор о Боге и о религии ведется в плоскости химических опытов и математических выкладок — побеждаете вы и торжествуете легкую победу. Тут доказывать или отрицать что бы то ни было без помощи химии и математики нельзя. И на языке вашей науки, конечно, ничего не значат слова ангел, благая весть, радость, смирение. Но зачем ограничиваться религией? На этом вашем языке ничего не значит добрая половина слов вообще, и ведь как раз поэтому и приходится вам держать под страшным прессом и поэзию, и литературу, и философию, и вообще всю мечту человеческую. Вам хотелось бы, чтобы весь мир думал, как вы, — о производстве и экономических законах, о коллективах и программах. Но мир так не думает, и его нужно держать в железных рукавицах, чтобы он думал так, или, вернее, делал вид, что так думает. Вы говорите, все то, что мечта, — неправда, потому что этого нет. Но на деле люди всегда жили, живут и будут жить мечтой, и все самое глубокое, самое нужное для себя выражать на языке мечты. Я не знаю, что такое ангел, я не могу на вашем языке объяснить, что произошло почти две тысячи лет назад в маленьком галилей-

ском городе и о чем повествует Евангелие от Луки. Я думаю, что рассказ этот человечество никогда не забывало, что эти несколько строк воплотились в бесчисленном количестве картин, поэм, молитв, что они продолжали и продолжают вдохновлять. А это значит, конечно, что люди слышали в них что-то бесконечно важное для себя, какую-то правду, которую, по всей вероятности, иначе, как на этом детском, радостном языке выразить нельзя.

О чем эта правда? Что случилось, когда молодая женщина, почти девочка, услышала внезапно — из какой глубины, с какой высоты! — это удивительное приветствие: «Радуйся!» — Ведь вот что сказал Марии ангел: «Радуйся!»

Мир наполнен томами о борьбе и соревновании, ими хотят доказать, что путь к счастью лежит через ненависть. И во всех этих томах ни разу не написано слово «радость», и люди даже не знают, что это такое. А вот та радость, о которой возвестил ангел, продолжает трепетать в мире и так же потрясать, так же волновать человеческие сердца. Войдите в храм в вечер под Благовещение. Дождитесь того момента в этой длинной службе, когда, после долгого ожидания, долгого нарастания хор начинает петь, так тихо и так божественно-прекрасно: «Архангельский глас вопиет Ти, Чистая,— радуйся, и паки реку — радуйся!» Прошли века, а мы все слышим этот призыв к радости, и радость теплой волной заливают наше сердце. Но о чем она? Конечно, и прежде всего, о самой этой женщине, образ которой наполнил собою мир, смотрит на нас с икон, стал одним из величайших и чистейших воплощений человеческого искусства, человеческой мечты. Верность, чистота, целостность, всецелая самоотдача, бесконечное смирение — все то, что навеки звучит в ответе Марии ангелу: «Се раба Господня, буди ми по глаголу Твоему». Скажите, есть ли в мире — во всей его богатой и сложной истории — что-нибудь выше и прекраснее, чем этот челове-

ческий образ. Действительно, как поет Церковь, о Ней, о Пречистой и Благодатной, вечно «радуется всякая тварь». На ложь о человеке, на его редукцию к земле и к животу, к низменному и животному, на подчинение его непреложным и безличным законам природы Церковь отвечает образом Марии, пречистой Богоматери, Той, к Которой, по словам русского поэта, всегда возносятся «от великой полноты сладчайшие людские слезы». Радость о том, следовательно, что тут преодолевается та неправда, та ложь о человеке, которой все время наполняется мир. Радость любования, радость обладания — ибо этот образ всегда с нами, как утешение и ободрение, как вдохновение и помощь. Радость о том, что, глядя на него, так легко верить в небесную голубизну мира, в небесное призвание человека. Радость о Благовещении — о благой вести, принесенной ангелом, что люди обрели благодать у Бога, и что скоро, скоро — через нее, через эту никому неизвестную галилейскую женщину, начнет совершаться тайна спасения мира: к ней придет Бог, и придет не в грохоте, не в страхе, а в радости и полноте детства, и через нее воцарится в мире Ребенок, слабый и беззащитный, но который навсегда, навеки сделает бессильными все силы зла. Так вот то, что празднуем мы на Благовещение, вот почему праздник этот всегда был и навсегда останется такой радостью, таким светом. Еще раз — понять и выразить это в ваших категориях невозможно, ибо все ваше так называемое научное безбожие к тому как раз и сводится, что вы своевольно, безапелляционно объявили несуществующим, ненужным и вредным целое измерение человеческого опыта, и объявили несуществующими все те слова и понятия, в которых он был выражен. Для того, чтобы спорить с вами на вашем языке, нужно предварительно спуститься в какой-то темный погреб, где не видно неба — и потому оно отрицается, где не светит солнце — и потому его нет, где все уродливо, грязно и темно, и потому отрицается красота, где невозможна радость, и потому все —

злые и грустные. Но если выйти из погребца и подняться, попадаешь в ликующий радостью храм, и там опять слышно: «Архангельский глас вопиет Ти, Чистая, радуйся, и паки реку: радуйся!»

4. Рождество Богородицы

Основой почитания Марии в Церкви всегда было послушание Ее Богу, свободное доверие, оказанное Ею по-человечески неслыханному призыву. Православная Церковь вообще всегда подчеркивала эту связь Марии с человечеством, и, если так можно выразиться, любовалась Ею как лучшим, чистейшим, возвышеннейшим плодом человеческой истории, человеческого искания Бога, и в Нем — последнего смысла, последнего содержания самого человечества. Если на Западе, в западном христианстве, в центре почитания Марии всегда стоял образ Ее как Девы, девство которой не нарушено было материнством, то для православного Востока такой сердцевинной любви его к Марии, созерцания Ее и — повторяю еще раз — радостного любования Ею с самого начала было и остается ее Материнство, Ее кровная связь с Иисусом Христом.

Православный Восток прежде всего радуется тому, что в пришествии Сына Божьего на землю, в спасительном явлении Бога, ставшего человеком, чтобы воссоединить его, человека, с Его Божественным призванием, что в пришествии этом приняло участие и само человечество. Если самое радостное и глубокое в христианской вере — это «соприродность» Христа нам, то, что Он подлинно человек, а не призрак, не таинственное явление, что Он — один из нас, навеки с нами своим человечеством связанный, то тогда понятным становится и любовное почитание Той, которая Ему это человечество, нашу плоть и кровь, дала. Той, благодаря которой Он, Христос, мог называть себя так, как Он всегда себя назы-

вал: «Сын Человеческий». Сын Божий, Сын Человеческий...

Бог, снисходящий до человека, чтобы человека сделать Божественным, или, как говорят учителя Церкви,— обожить, сделать причастником Божества. Именно тут, именно в этом потрясающем откровении о подлинной природе, о подлинном призвании человека — источник благодарного, любовного отношения к Марии как нашей связи со Христом, и в Нем — с Богом.

И нигде это не раскрывается с большей ясностью, чем в празднике Рождества Богородицы. Об этом событии ничего не сказано в Священном Писании. Да и что особенного можно сказать о рождении ребенка, рождении, подобном всякому рождению. И если Церковь стала в особом празднике вспоминать и праздновать это событие, то не потому, что оно было чем-то исключительным, чудесным, из ряда вон выходящим, нет, а как раз потому, что сама обыденность его раскрывает новый и лучезарный смысл во всем том, что мы называем «обыденным», придает новую глубину тем подробностям человеческой жизни, о которых мы так часто говорим, что они «ничем не замечательны».

Но посмотрим на икону этого праздника, взглянемся в нее духовным нашим взором. Вот на постели — только что родившая дочь женщины. Церковное предание утверждает, что звали ее Анна. Рядом с нею — отец, имя которого, по тому же преданию,— Иоаким. Рядом с постелью женщины совершают первое омовение новорожденной. Самое обыденное, ничем не замечательное событие. Но так ли это? Не хочет ли иконой этой сказать нам Церковь, прежде всего, что рождение в мир, в жизнь нового человеческого существа — это чудо всех чудес, чудо именно разрывающее обыденность, ибо тут начало, у которого уже нет и не будет конца. Начало единственной, неповторимой человеческой жизни, возникновение новой личности, в появлении которой как бы заново творится мир, и вот — дарится, дается этому но-

вому человеку как его жизнь, как его путь, как его творчество.

Итак, первое, что мы празднуем в этом празднике, это пришествие в мир самого Человека, пришествие, о котором в Евангелии сказано, что когда совершается оно, мы не «помним уже скорби из-за радости, что родился человек в мир». Второе: мы знаем теперь, чье рождение, чье пришествие мы празднуем. Мы знаем единственность, красоту, благодатность именно этого ребенка, его судьбы, его значения для нас и для всего мира. И третье — мы празднуем и все то и всех тех, которые как бы подготовили Марию, наполнили Ее этой благодатью и красотой. Вот в наши дни много говорят о наследственности, придавая ей какой-то рабий, детерминистский смысл. Церковь тоже верит в наследственность, но духовную. Сколько веры, сколько добра, сколько поколений людей, живших высшим и небесным, нужно было, чтобы на древе человечества вырос этот изумительный и благоуханный цветок — пречистая Дева и всевятая Мать! И потому это также и праздник самого человечества, веры в него, радости о нем. Увы, нам виднее и понятнее наследственность зла. И действительно, сколько зла вокруг нас, что эта вера в человека, в его свободу, в возможность доброй и светлой наследственности уже почти выветрилась в нас и заменилась скептицизмом и недоверием. Однако именно этой злой скептицизм, это унылое недоверие призывает нас оттолкнуть от себя Церковь в день, когда празднует она — и с какой радостью и верой — рождение маленькой девочки, в которой как бы сосредоточилось добро, нравственная красота, совершенство, которые составляют подлинную человеческую природу. Ею, этой рождающейся девочкой, и в Ней встречает мир идущего к нему Христа. Он наш дар — Ему, наша встреча с Богом. И вот мы уже на пути к Вифлеемской пещере, к радостной тайне Богоматеринства.

Приснодество, то есть вечное Девство Марии, прославляет Церковь, ежедневно повторяя молитву, к ней обращенную: «Богородице, Дево, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою...». Нужно ли доказывать, что эта вера в непорочное зачатие, в девство Марии составляет для очень многих людей своего рода «камень преткновения и соблазна», предмет недоумения и непонимания, предлог для обвинения христианства в суеверии и т. д. На недоумения эти верующие обычно отвечают: это чудо, в которое мы верим, в которое нужно верить, а понять его нельзя...

Ответ этот, для верующих самоочевидный, необходимо все-таки уточнить. С одной стороны, само собою разумеется, что если, как верят верующие, есть Бог — Творец мира и жизни и всех ее законов, то Бог всемогущ, законы эти нарушать, то есть совершать то, что на обычном человеческом языке называется чудом. Чудо — это нечто, выходящее за пределы ведомых нам законов природы, то, что, в противоположность «естественному», мы ощущаем как сверхъестественное. Если Бог — Бог, то Он, очевидно, бесконечно возвышается над «законами природы», всемогущ, всемогущ и абсолютно свободен.

Все это так, и вера, отрицающая чудо, то есть подчиняющая Бога ограниченному закону природы, — уже, конечно, не вера. Но это не значит, что нам — верующим христианам — запрещено спрашивать себя, спрашивать свою веру — о смысле чуда. Ибо в том-то и дело, что христианское понимание чуда, понимание, идущее от Евангелия, от Самого Христа, — понимание это особенное, требующее от нас углубленного духовного внимания. Прежде всего, образ Христа. Евангелие исключает понимание чуда как доказательства, как факта, принуждающего человека поверить. Я говорю — образ Христа... Действительно, если что доминирует в этом единст-

венном образе, то это отнюдь не желание «доказать» при помощи чуда свою Божественность, а напротив — предельное смирение. Апостол Павел пишет о Христе удивительные слова: «Он, будучи образом Божиим, ... уничижил Себя Самого, приняв образ раба... смирил Себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной...».

Нигде, никогда, ни разу Христос не сказал, что Он родился чудесным образом — не употребил этого «доказательства». И когда Он висел на Кресте, всеми оставленный в страшной своей агонии, окружающие издавались над Ним требованием именно чуда: «сойди с креста, и мы поверим в Тебя». Но Он не сошел со креста, и они не поверили в Него. Те же, кто поверил, — поверили именно потому, что Он не сошел со креста, ибо ощутили всю Божественность, всю бесконечную высоту именно смирению, именно всепрощения, воссиявшего со Креста: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят...».

Я повторяю, нет в Евангелии, нет в подлинной христианской вере отношения к чуду как к доказательству. И нет потому, что такое доказательство — при помощи чуда — лишает человека того, что христианство считает в нем самым драгоценным, лишает его свободы. Христос хочет, чтобы люди поверили в него свободно, а не принуждаемые к вере «чудом». «Если любите меня, — говорит Он, — заповеди Мои соблюдайте...». И любим мы Христа — в ту, увы, слишком слабую меру, в какую любим, — ни за что, не за всеисилие, нет, а за Его любовь, смирение, за то, говоря словами слушавших Его, что «никогда не говорил человек так, как этот Человек».

Но Христос творил чудеса: Евангелие наполнено рассказами об исцелении Им болящих, оживлении умерших и т. д. И потому уместно спросить: в чем же тогда их смысл, этих чудес, которые Христос все же являл миру? Если Христос, по словам евангелиста, не совершал чудес там, где не верили в Него, если Он обличал людей за то, что они ждут и хотят от Него чуда, то почему же Он творил их? Только ответив на этот вопрос, смо-

жем мы, может быть, понять и чудо всех чудес — приснодевство Марии, Матери Его, и недрогнувшую веру Церкви в это чудо. Прежде всего, все чудеса, о которых мы знаем из Евангелия, совершены были Христом по любви. «Он сжалился над ними...», — говорит евангелист. Сжалился над родителями умершей девочки, над вдовой, потерявшей единственного сына, над празднующими и радующимися, у которых не хватило вина, над слепыми, хромыми, страдающими. И это значит, что источником чудо была и остается любовь. Не для себя, не для того, чтобы прославить себя, явить себя, свою Божественность, доказать ее людям, творит чудо Христос, а только потому, что любит и, любя, не может вынести страдания безнадежно плененного злом человека.

Объяснение это, однако, как будто, не относится к тому чуду, о котором идет речь: к рождению Христа от Девы, к Ее приснодевству... Это действительно единственное по существу своему чудо, если так можно выразиться, тайное, только вере открытое и только верою удостоверяемое, источник свой имеет в нашей вере в то, что Христос есть Бог, ставший человеком, принявший на себя наше человечество, чтобы его спасти. Спаси от чего? Да как раз от полного, безысходного порабощения природе и ее неумолимым законам, что делает нас только частью природы, только материей, только «плотью и кровью». Но человек — не только от природы. Он, прежде всего, от Бога, от свободной Божьей любви, от Духа.

И вот только это утверждает наша вера: Христос от Бога, Божий, Его Отец — сам Бог. С Него, с Его рождения, с Его пришествия в мир начинается новое человечество, которое не от плоти и не от похоти, которой мы подчинили себя, а от Бога. Сам Бог обручается с человечеством в лице лучшего плода Его: пречистой Девы Марии, а через Нее, через Ее веру и послушание дает нам Сына Своего единородного. В мир входит, с нами соединяется Новый Адам, и восстанавливает того — пер-

вого, — который был создан не «природой», а Богом. Вот что — с трепетом и радостью — узнаем мы, если верим во Христа, вот почему, принимая Его как Бога и Спасителя, мы узнаем в Матери Его лучезарное приснодевство, и через него — победу в мире Духа и Любви над материей и ее законами.

6. Покров

Осенний праздник, праздник Покрова Божьей Матери, ставший особенно излюбленным у нас, хотя возник он не на Руси, а в Константинополе, и — как это ни покажется нам сегодня странным — возник как праздник победы Византии над нашими предками, осаждавшими тогда столичный город. Согласно преданию, в дни этой осады некоторые молящиеся в храме увидели Божью Матерь, держащую покров над городом и молящуюся об этом городе. И, как это случалось не раз в истории, местное событие, ограниченное местными обстоятельствами, как бы переросло себя, расширилось до вселенских размеров и до вселенского значения. Забылась историческая связь событий, забылись конкретные обстоятельства, но остался этот образ Матери, прикрывающей, защищающей, утешающей своих в беду попавших детей.

Этот праздник стал сердцевиной именно восприятия Марии как Матери, которой на кресте усыновлено было все человечество, которая как Мать принимает в сердце свое все наши горести, все страдания, всю безудержную боль нашего земного существования. «Тебе оружие придет сердце, дабы открылись помышления многих сердец...». Эти слова праведного старца Симеона, сказанные Ей в день, когда Она принесла Младенца во Храм, чтобы посвятить Его Богу, глубоко проникли в душу верующих. Мать Иисуса Христа, принявшая всю страшную боль сострадания и жалости, когда стояла Она у креста Сына, — стала как бы даром нам, людям,

даром материнской любви, материнской жалости, материнского сострадания...

Веками ощущали, духовным взором видели люди этот светлый покров над миром и радовались ему и в нем находили помощь и утешение. «Днесь благовернии людие светло празднуем осеняеми Твоим, Богомать, пришествием...». Тот, кто имел это видение, юродивый нищий Андрей, рассказывал, что видел Божью Матерь, плакавшую о мире. «Богоматерь,— говорил он,— коленопреклоненно молилась. Госпожа и Царица мира плакала о нем...».

Много столетий спустя, на вопрос о смысле этих слез, так отвечает в своей проповеди на этот праздник о. Сергей Булгаков, великий русский философ и богослов, сам в юности уходивший от христианской веры в марксизм, но вернувшийся в дом отчий и ставший в страшное лихолетье, в годы отступления от веры миллионов людей, свидетелем религиозного призвания своего народа. Отец Сергей говорит: «...Не только 1 000 лет назад молилась слезно Богородица, но молится ныне и здесь, и всегда, и всюду, и до скончания века. И не только над присутствующими тогда... простерся ее покров, но и над всем родом человеков, и над всем миром и над нами, грешными, сияет осеняющий и спасающий покров Богоматери, хотя и не имеем очей, достойных это увидеть. Божья Матерь посредствует между землей и небом. Она есть ходатаица мира, возносящего молитвы к престолу Славы Божией. Она есть любовь и милосердование, милость и жалость, прощение и заступление. Она не судит, но всех жалеет. Она — не правда суда и не суд правды, но материнское предстательство. И на страшном суде Сына своего Она молит праведного судию о прощении. Грех мира и скорби мира ранят сердце вселюбящее, на злобу и грех она отвечает любовью и слезами, оружие и ныне проходит сердце ее. Богоматерь плачет о мире. Что это за тайна? Сам мир плачет о себе Ее слезами. Его страдания и скорбь суть и Ее печали, его рыдания суть

и Ее слезы... Она — мать! Она — сердце. Она — земля неоранная... Если бы очи людские зрели свет Богоматерний в мире, они знали бы таинственно совершающееся мира преобразование. Если бы видели ее слезы, дрогнули бы и растопились жестокие сердца. Ибо не может быть такого окамененного сердца, которое не растопилось бы пред этой любовью, о нем милосердующей. На злобу — любовь, на грех — слезы, на хулу — прощение, на вражду — благословение».

И о. Сергей продолжает: «Мир не оставлен в скорби своей, человек не одинок в печали. Ранится и раздирается материнское сердце, вместе с нами о нас плачет Богоматерь. Будем же знать — чье сердце мы раним грехами, чьими слезами омываются наши падения... Возлюбила Русская земля день Покрова Божьей Матери, явленного в далеком Царьграде. Но не там, а в далекой стране полунощной стали радостно петь и ублажать осенение мира Богоматерью. Приклонился душою народ наш к этому дивному явлению, воздвигались храмы по всей земле нашей во имя Покрова Богоматери, и преклонил он колена сердца своего вместе с молящейся коленопреклонно Богородицей. И ныне, в великой скорби своей народ наш осеняет себя Покровом Ее. И ныне — в бедах и скорбях разве не слышит Она стонов и вздыханий, разве не внемлет плачу и рыданию?»

Верим и знаем, что и днесь предстоит Милосердная с молитвой и плачем о русской доле. Слышит ли наше сердце плач Ее? Знает ли Ее молитву и утешение? Знает ли покров Ее над нашей землей? Да, слышит и знает, когда молитвенно склоняется перед Пречистой. Не оставила Она нашу землю, хотя и попущены ей сатанинские испытания».

Эту проповедь о. Сергей Булгаков произнес в самом начале безбожного, антирелигиозного беснования на нашей земле. Но остаются они, слова эти, во всей своей силе и сейчас. Ибо какие бы новые формы ни принимала эта борьба, она остается борьбой — за направленность,

за выбор сердец человеческих, и не только отдельных сердец, но и за народное сердце, за его выбор, за его верность.

«Радуйся, радости наша! Покрый нас от всякого зла святым твоим Покровом». Этим порывом хвалы и радости, этой мольбой о помощи, защите и утешении когда-то определена была наша духовная судьба. И сколько бы ни было грехов и падений, сколь ни страшна была бы тьма жизни — этот сияющий образ Матери, заступницы, утешения, покрова над миром — был с нами, над нами, в нас... Праздник Покрова снова призывает нас возвратиться к нему, и в этом возвращении — к исцелению и возрождению.

7. Введение во Храм

Когда-то, во времена еще не столь давние, но, как кажется иногда, тысячелетиями отделенные от нас, жизнь измерялась, в первую очередь, духовными, религиозными праздниками. О, конечно, далеко не все знали в точности содержание каждого из них, но все шли в церковь, для многих, может быть даже для большинства, праздник был прежде всего возможностью выспаться, поесть, попить, отдохнуть. И все-таки, думается, каждый чувствовал, даже если и не сознавал ясно, что праздник — это прорыв в жизнь чего-то высокого и светлого, соприкосновение с миром каких-то иных реальностей, напоминание о чем-то, что забывается и заглушается буднями, т. е. суетой и усталостью повседневной жизни.

Даже названия праздников: Введение во Храм, Рождество, Богоявление, Сретение, Преображение, даже сами эти слова — своей торжественностью, инаковостью по отношению к действительности, таинственной красотой своей о чем-то напоминали, к чему-то звали, на что-то указывали... Праздник — это был как бы вздох чело-

века о какой-то утраченной, но манящей красоте, вздох о возможности другого.

Но теперешний мир наш стал будничным, беспраздничным — и даже прививки казенных, «социальных» праздников не устраняют этого налета пепла, грусти и разочарованности. Ибо, повторяю, сущность праздников именно в этом прорыве, подъеме — в иную реальность, в мир духовной красоты и света. Но если этой реальности нет, если по существу — нечего праздновать, то никакими искусственными подъемами праздника не создать.

Вот праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы. О чем он? Тема его простая: маленькую девочку родители приводят во храм Иерусалимский. Ничего необычного, в то время так поступали многие, это было общепринятым обычаем. Ибо привести в Храм — это значит жизнь ввести в соприкосновение с Богом, дать жизни конечную цель и назначение, осветить ее изнутри светом высшего опыта.

Но вот, повествует церковная служба этого дня, вводят ее туда, куда никто, кроме священников, не смел входить, вводят в место, называемое «святое святых», в таинственную, священную глубину храма. Имя этой девочки — Мария. Это будущая мать Иисуса Христа, т. е. та, через которую, верят христиане, сам Бог приходит в мир, к людям, чтобы разделить их жизнь и раскрыть божественное ее содержание. Что это — сказки? Или тут что-то поведано и раскрыто, о чем иначе, в простых человеческих словах может быть и не скажешь, то, что прямо, непосредственно относится и к нашей жизни?

Вот был этот великолепный, тяжелый храм — слава Иерусалима. И веками люди верили, что только в нем, за тяжелыми стенами может человек соприкоснуться с Богом. Но священник взял Марию и ввел ее в самое священное место, и мы и сейчас поем: «пречистый Храм Спасов вводится в храм Господень». А потом, Христос

сказал: «Разружьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Евангелист прибавляет: «а Он говорил о храме тела Своего».

Смысл всех этих событий, всех этих слов, всех этих воспоминаний прост: отныне храмом становится человек, отныне не камни и не алтари, а человек — его душа, его тело и вся его жизнь — вот священный и божественный центр мира, вот его «святое святых». Один храм — живой и человеческий — входит в другой, каменный, материальный, и изнутри завершает его смысл и назначение.

Перемещается центр религии, более того — перемещается центр тяжести жизни. В мир входит учение, не ставящее ничего выше человека, ибо Сам Бог принимает человеческий образ, чтобы явить, что назначение человека, призвание его — божественное. С этого момента начинается свобода человека. Нет ничего над ним, ибо сам мир для него — дар Божий, данный ему для исполнения божественной судьбы своей.

С тех пор, что вошла Дева Мария в «святое святых», сама жизнь стала храмом. И когда празднуем мы праздник Введения во Храм, мы празднуем этот божественный смысл человека, высоту и свет его призвания. Их не стереть, не выкорчевать из человеческой памяти.

8

Можно без преувеличения сказать, что церковное почитание Девы Марии, Божьей Матери, выросло, как дерево из семени, из созерцания Ее у яслей, в Вифлееме, в ту для христиан единственную по своему значению ночь, когда родился Иисус Христос, когда образ Матери с Младенцем на руках стал — и навсегда остался — главным, самым глубоким, самым радостным образцом нашей веры, нашей надежды, нашей любви... Иначе говоря, все праздники, все молитвы, вся любовь, направ-

ленные на Божью Матерь, укоренены в празднике Рождества Христова.

В древности, когда еще не развился церковный календарь, единственным праздником в честь Девы Марии был второй день Рождества — 26-го декабря, день, который и доныне называется «Собором (то есть собранием) в честь Пресвятой Богородицы». Именно в праздновании христианской Церковью Рождества Христова, то есть в молитвах и песнопениях этого дня, находим мы самый глубокий пласт богородичной темы, присущей христианской вере, то есть нашего отношения к Марии, нашего восприятия как Ее образа, Ее личности, так и места Ее в нашей религиозной жизни.

Одна тема, один мотив красной нитью проходит через все празднования Рождества Христова: это переживание Матери Христовой как дара мира, дара человечества, и значит — нашего дара приходящему в мир, к человеку Бога. «Что принесем Тебе, Христе», — спрашивает одна из рождественских молитв. И отвечает так (я привожу молитву эту в ее русской, а не церковнославянской форме): «Все, сотворенное Тобою, встретило Тебя своими дарами. Небо дарит Тебе звезду, ангелы — пение, волхвы — приношения, пастухи — свою радость, земля — пещеру, пустыня — ясли. Мы же, люди, приносим в дар Тебе Матерь-Деву...».

В чем глубокий смысл этого удивительного песнопения? Да в том, конечно, что мир, что все творение не только жаждут соединения с Богом, не только ждут Его пришествия к нам, но и готовят эту встречу, так что именно встреча Бога с человеком, свободная и любовная, составляет самую сердцевину христианской веры. Для современного слуха, высушенного, вылущенного поверхностной рассудочностью, слова о небе, приносящем приходящему в мир Богу — звезду, или о земле, приносящей Ему пещеру и ясли, звучат всего лишь как поэтические метафоры, как поэзия, не имеющая, «как известно каждому», никакого «объективного» значения,

никакого отношения к реальности. Чего наше рассудочное сознание не вмещает, так это того как раз, что именно поэзии, и может быть только ей, дано видеть, слышать и нам передавать и являть глубокий смысл, лучше сказать, глубину всякого явления, всякой реальности, ту подспудную их силу и правду, которая скрыта от маленького, самодовольного, одной лишь внешностью вещей занятого рассудка. Небо, в дар Христу приносящее звезду! Что это значит, как не то, что все в мире, и прежде всего сам мир в своей целостности и гармонии, в самой своей природности, как бы предназначен, предопределен к явлению в нем высшего смысла, что сам мир не случаен, не бессмысленен, а наоборот: мир — и символ, и желание, и ожидание Бога.

«Небеса поведают славу Божию!» Это знает поэзия, это знает вера. И потому в Рождестве Христовом поэзия и вера видят не только пришествие Христа, но и встречное движение к Нему мира: звезда, пустыня, пещера, ясли. Ангелы, пастухи, волхвы. И, как лучезарная сердцевина, как скрещение и полнота всех этих движений, — Мария, лучший, самый прекрасный плод, божественный цветок мироздания. Ты даешь нам по любви Твоей Сына Твоего — как бы говорит вера Богу. Мы, в нашей любви, даем тебе Марию, Деву-Мать, чтобы Сын Божий мог стать Сыном Человеческим, быть одним из нас, и нас в себе соединить с Богом. В лице Марии совершается как бы брак Бога с миром, исполнение их взаимной любви. Говорит Евангелие: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного...». Отвечает Церковь: «Так возлюбил мир Бога, что отдал Ему ту, в чьей красоте и чистоте раскрывается глубинный смысл, глубинное содержание мира...». И потому, прежде чем начинает узнавать вера в Марии — Мать и заступницу, прежде, чем находит свою полноту почитания Ее в бесчисленных молитвах, праздниках, изображениях, до всего этого, как основание и источник всего этого, — явлена нам Божественная полнота. Божественная

красота той ночи, и в самом сердце Ее ослепительный свет, исходящий от образа Матери с Младенцем на руках. Все то, что распалось в грехе, злобе, гордости человеческой,— снова соединено: небо и земля, Бог и человек, природа и дух. Мир становится хвалой, слова — любовью и песнью, материя — даром, природа — яслями. Та любовь, которой Бог извечно возлюбил мир и та любовь, которой, на последней глубине своей, извечно любит мир Бога, соединились и исполнились и воцарились в этом образе, в образе, которого никто и никогда не смог выкорчевать из человеческой памяти, из человеческого сознания.

Вглядываясь в этот образ, радуясь ему, мы вглядываемся в единственный подлинный образ мира, жизни и человека. И, ублажая Матерь Деву, радуемся прежде всего тому, что в ней раскрылось о нас самих, о Божественной глубине, красоте, мудрости и свете мира, когда он воссоединяется с сотворившим и любящим его Богом.

9

В мире страшно и пусто. Одиноко. И бесконечно трудно жить. И потому так много людей ищут только того, как бы уйти от этой лжи, от этой безрадостной жизни, и погружаются — кто в беспробудное пьянство, кто — в попытки обмануть обманщиков, выцарапать у них хоть долю самого простого, животного счастья, кто — в беспредметные мечтания. Но все это всегда, рано или поздно, оказывается тупиком, и только еще более страшным становится пробуждение и насильный возврат к постылой лямке. Не случайно, какую бы область жизни мы ни взяли, каждая в наши дни стала «проблемой». Проблема общества. Проблема труда. Проблема пола. Проблема женщины. Проблема счастья... И стало все это проблемой потому, конечно, что, с одной сторо-

ны, готовые ответы и предписания, даваемые казенной пропагандой, уже давно развенчаны, обличены в своей лжи и пустоте, перестали быть ответами, и потому, с другой стороны, что иных ответов нет, и мы так часто не знаем — где и как их искать. И воцаряются в нашем сознании пустота и цинизм, и вот их-то и хотим мы заглушить, от них бежать.

Многие в наши дни начинают смутно сознавать, что подлинные ответы невозможны, если не прорвется человек к высшему и вечному, не обретет веры. Но ведь и в Бога можно верить по-разному. Ведь и вера может быть тоже только уходом, только бегством, своего рода психологическим опьянением, то есть вера может быть псевдо-верой, или ложной верой. Увы, и во имя веры, во имя Бога можно ненавидеть и творить зло, разрушать, а не созидать. И не говорил ли сам Христос, что «многие придут во имя Его, и многих прельстят», и не говорил ли Христос также о том, что не всякий, говорящий Ему «Господи, Господи», войдет в Царство Божие? Поэтому с первых же дней своих христианство не спрашивало — «веришь ли ты?» — ибо знало, что и те, которые распинали и предавали Христа, тоже во что-то и как-то верили; нет, христианство спрашивало: как ты веришь? И во что?

И вот здесь, при попытке ответить на этот основной для подлинной веры вопрос, и вырастает перед внутренним взором почти бессознательно, почти невольно, образ Девы-Матери. О, это совсем не значит, что образ этот хоть как-то заслоняет собою образ Христа или же представляет собой для веры как бы второй объект, отличный от Христа. Нет, ибо от Христа, только от Него, получаем мы этот образ как некий подарок нам, как раскрытие всего того, о чем учение, к чему — призыв Христа. Так вот, спросим себя, — в чем же его сила, в чем его помощь нам?

Мой первый ответ, возможно, удивит многих. Вот он: это образ женщины. Первый дар Христа нам,

первое и самое глубокое раскрытие Его учения и призыва даны нам в образе женщины. Почему это так важно, так утешительно, так спасительно? Да потому, что мир наш стал до конца безнадежно мужским миром. В мире нашем царят гордыня, агрессивность, в нем все сведено к орудиям власти и властвования — к производству и к орудиям производства, к соперничеству, насилию, нежеланию в чем-то уступить, где-то смириться, умолкнуть, погрузиться в тихую глубину жизни. И именно всему этому противостоит, все это обличает — одним своим присутствием — образ Девы Марии, Пречистой Матери, образ бесконечного смирения, но также и силы и красоты смирения, образ чистоты — и ее силы и красоты, образ любви — и победы этой любви.

Дева Мария, Пречистая Мать ничего не требует — и все получает. Ничего не добывается — и всем обладает. В образе Девы Марии все то, чего почти уже не осталось в нашем мужском, гордом и агрессивном мире: сострадание, жалость, забота, доверие; про себя она говорит: «се раба Господня», а мы называем Ее Царицей неба и земли, Владычицей и Господою. Дева Мария ничему не учит, ничего не доказывает — но вот одно ее присутствие, один свет и радость этого присутствия просто снимают выдуманные, вымученные нами проблемы. Как если бы после длинного, мучительного, разбитого дня мы вернулись домой, и все снова ясно, и все полно того никакими словами не передаваемого счастья, которое и есть единственное подлинное счастье. Христос говорил: «Ищите прежде всего Царствия Божия». Так вот, в этой женщине — Деве, Матери, Заступнице — мы не умом, а сердцем чувствуем, что значит искать и найти Царство, и что значит жить им.

10. Успение

В августе празднует Церковь конец земной жизни Марии, смерть ее, которую называют Успением: словом, в котором соединяются сон, блаженство, мир, успокоение, радость.

Мы ничего не знаем об обстоятельствах смерти Марии, матери Иисуса Христа. От раннего христианства дошли до нас разные рассказы о ней, разукрашенные как бы детской любовью и нежностью. Но именно потому, что рассказы эти разные, нам нет нужды отстаивать «историчность» ни одного из них. В день Успения память и любовь Церкви направлена не на эту фактическую, историческую обстановку, не на дату и не на место, где закончилась земная жизнь этой матери всех матерей, этой единственной женщины. А на то, что составляет сущность и смысл этой смерти, где бы и когда бы она ни наступила. Церковь поминает смерть той, чей Сын, согласно вере нашей, победил смерть, воскрес из мертвых и нам даровал обещание последнего воскресения и торжества жизни неумирающей. И вот сущность и смысл этой смерти, может быть, лучше всего переданы на той иконе, которая в день праздника Успения полагается в центре храма и составляет как бы средоточие всего празднования. На иконе этой изображена Божия Мать на смертном одре, мертвая. Вокруг нее стоят апостолы Христовы, а над ней — сам Христос, держащий в руках своих Мать свою живую и навеки с Ним соединенную. Таким образом, мы видим смерть и то, что уже совершилось в этой смерти: не разлука, а соединение, не печаль, а радость, и в пределе, на последней глубине — не смерть, а жизнь. «По рождестве Дева, и по смерти — жива», — поет Церковь, взирая на эту икону, и прибавляет: «в рождестве Ты сохранила девство, а в успении мира не оставила...».

И вот приходят на память слова одной из самых глу-

боких и прекрасных молитв, обращенных к Марии. Молитвы, в которой Мария названа «зарей таинственного дня». «Радуйся, заре таинственного дня!». Словно именно свет этой зари льется из праздника Успения, словно созерцая эту смерть, стоя у этого смертного одра — мы понимаем, что смерти больше нет, что само умирание человека стало актом жизни, вхождением его в большую жизнь, в жизнь жительствовавшую. Ту, которая всю себя отдала Христу, до конца возлюбила Его, Он встречает у этих светлых дверей умирающего — и вот, смерть становится радостной встречей, и вот жизнь одолевает, и вот над всем воцаряется радость и любовь. Она — Мария, Дева, Мать — одна из нас.

Веками вглядывалась, вдумывалась, вживалась Церковь в смерть той, что была Матерью Иисуса, дала жизнь нашему Спасителю и Господу, всю себя — вплоть до стояния у креста — отдала Ему. И в этом созерцании Церковь видела, находила, ощущала не страх, не ужас, не конец, а лучезарную, подлинно пасхальную радость. «На бессмертное твое успение собрались мы», — поет Церковь в первом же песнопении этого праздника, и сразу же, в этих первых, начальных словах выражает саму сущность этой радости. «Бессмертное успение». «Бессмертная смерть».

Что же значит это противоречивое, на первый взгляд абсурдное словосочетание? В празднике Успения — вся радостная тайна этой смерти, нам раскрываемая, становящаяся нашей радостью... Ибо если смерть — это ужас и горе разлуки, нисхождение в страшное одиночество и тьму, то всего этого нет в смерти Девы Марии. Ибо смерть Ее, как и вся жизнь, — только встреча, только любовь, только приближение к немеркнущему, невечернему свету вечности и вхождение в него. «Совершенная любовь побеждает страх», — говорит апостол любви Иоанн Богослов. И потому нет страха в бессмертном успении Девы Марии. Смерть здесь побеждена изнутри,

освобождена от всего того, что наполняет и ужасом, и безнадежностью. Можно сказать: сама смерть становится жизнью и торжеством жизни. Смерть становится «зарей таинственного дня». И потому в этом празднике нет печали, нет надгробного рыдания, нет горя: только свет, только радость. Словно для каждого из нас, приближающихся к этому неизбежному порогу,—открывается уже дверь и из нее падают, сияют лучи грядущей победы, грядущего Царства Божия.

В эти августовские дни, когда предела красоты достигает природный мир, и как бы сам становится хвалой, надеждой, знаком иного мира, в этом особом праздничном свете звучат слова молитвы: «В молитвах неусыпающую Богородицу смерть и умерщвление не удержали. Ибо к жизни перешла Мать самой жизни...». Смерть, перестающая быть смертью. Смерть, светящаяся вечностью и бессмертием. Смерть — не разлука, а соединение. Не печаль, а радость. Не поражение, а победа. Вот что празднуем мы в день успения Пречистой Матери, предчувствуя, предвосхищая, утверждая уже занимающуюся зарю таинственного дня.

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства

3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. О ВЕРЕ И ОТКРОВЕНИИ

5

I. О ВЕРЕ	7
II. ОБ ОТКРОВЕНИИ	22
III. СИМВОЛ ВЕРЫ	34

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЦЕРКОВНЫЙ ГОД

95

ВВЕДЕНИЕ	97
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА	114
РОЖДЕСТВО	117
НОВЫЙ ГОД	129
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ	132
СРЕТЕНЬЕ	139
ЗАКХЕЙ	142
МЫТАРЬ И ФАРИСЕИ	145
ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ	149
ПРИТЧА О СТРАШНОМ СУДЕ	152
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ	155
ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА	158
КРЕСТОПОКЛОННАЯ	169
ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О СМЕРТИ	172
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ	176
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ	179
ПАСХАЛЬНАЯ ВЕРА	183
ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ	187
ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ	190
О РАССЛАБЛЕННОМ	194

247

РАЗГОВОР ХРИСТА С САМАРЯНКОЙ	197
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ	200
ПЯТИДЕСЯТНИЦА	204
РУССКИЕ СВЯТЫЕ	207
ПРЕОБРАЖЕНИЕ	211

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ПОЧИТАНИЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ	217
--	------------

Набор сделан с издания
1989 г. Утса-Press, Париж

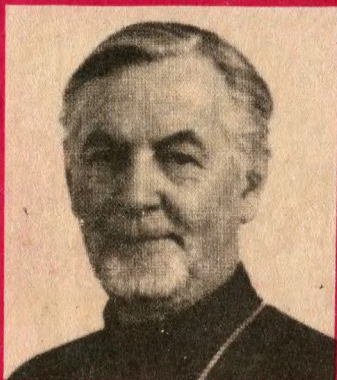
Редактор П. Н. Роговой

Сдано в набор 2.12.92. Подписано в печать 22.12.92. Формат
70×108¹/₃₂. Объем 7,75 п. л. Тираж 35 000 экз. Зак. 265.

Издательство «Паломник»
г. Москва, ул. Удальцова, 81, 49.

ПП «Чертановская типография» Мосгорпечатъ.
113545, Москва, Варшавское ш., д. 129а.

ПРОТОПРЕСВИТЕР АЛЕКСАНДР ШМЕМАН



Церковный деятель, богослов, проповедник, родился в Ревеле 13.09.1921, среднее образование получил в Париже. В 1945 г. окончил парижский Богословский Институт, был оставлен при кафедре церковной истории. В 1946 принял священство. В 1951 с женой и тремя детьми переселился в Нью-Йорк, приняв приглашение Св. Владимирской Семинарии. В 1959 г. защитил в Париже докторскую диссертацию по литургическому богословию. С 1962 г. — декан Владимирской Семинарии. Почет-

ный доктор ряда университетов, член Митрополичьего совета, неустанный проповедник по приходам, его голос нередко звучал по радио в передачах для России. Скончался 13.12.1983 в день преп. Германа Алискинского.